АНГАРА



1969
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ



По следу...

На 2 и 3 стр. обложки фото В. Паздникова.

АНГАРА

1|69

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ГОД ИЗДАНИЯ 39-Й

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

На вклейке — репродукции с картин Н. А. Андреева.

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, Дом писателей. Телефон 4-56-76.

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1969

Иннокентий ЧЕРЕМНЫХ

РАЗВЕДЧИКИ

Документальная повесть

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Первым командиром, которого я узнал в армии, был лейтенант Федор Королев.

Лейтенант прошел вдоль строя. Мы стояли перед ним, одетые кто во что горазд. Одни были в длинных шубах, другие в полушубках, в дохах из собачьего, медвежьего меха, из шкур дикой козы. На ногах самокатные валенки, унты, ичиги, чирки, смазанные дегтем. Головы наши тоже пестрели в шапках своего производства из собачьего, заячьего, цигейкового, лисьего, беличьего мехов. Уши шапок у одних висели, у других торчали вверх. Ростом неодинаковы, но все с одного 1922 года рождения, бывшие колхозники из сел и деревень Братского района.

Мы смотрели на коренастого, плотного Королева, на его белый как снег овчинный полушубок, в который впилась портупея. На правом боку наган оттянул поясной ремень. Королев спросил:

— Кто желает быть разведчиком? Служба веселая, почетная, всегда впереди. Разведчик должен быть смелым, решительным, сильным и вертким. Такому бойцу всегда почет. У кого же гайка слабовата, тому лучше в другую часть идти. Подумайте!

Он пошел от нас к двухэтажному зданию, обнесенному штакетной изгородью. Там был расположен штаб дивизии. Лейтенант, по-видимому, давал нам возможность переговорить между собой: идти в разведку или нет. Но мы болтали о другом:

— Так бы нас одели, как его, — проговорил Каймонов.

— Надо спросить, как кормят, — сказал Доброхотов.

— Смотрите, ноги-то у него ухватом, — показывал на Королева Павел Тельнов, — как у бабушки Кудряшихи.

Лейтенант вернулся к строю, спросил:

— Хорошо подумали?

Все молчали, он еще помедлил. Потом скомандовал:

— Желающие, два шага вперед, марш!

У меня получилось три, и я встал вплотную перед ним.

— Ты кто? Охотник или рыбак? — спросил Королев.

— Рыбачил, — отвечаю, — на удочку за полдня по сто штук пескарей надергивал. За утками охотился. Убивал...

— Значит, смекалка есть? Стреляешь хорошо? Плавать умеешь? Как подкрадывался, в рост, ползком?

— На карачках, — ответил я.

Командир засмеялся.

— Немец не утка, с ходу клюнет. Ниже держать ее надо. Научишься. Запишите!

Через несколько минут нас повели в баню, постригли наши чубы, переобмундировали. Выйдя на улицу, сразу же почувствовали, что это такое — солдатская закалка: шинели третьей категории, выданные нам, пронизывались ветром. Не скользил мороз и по надраенным до блеска кирзовым сапогам, он словно пробирался через широкие голенища.

Начались занятия от подъема до отбоя, декабрьский мороз с ветерком словно прижимал нас вниз, мы, согнувшись, занимались тактикой.

Во время строевой подготовки нас гоняли столько, что мы чуть не пообморозились. Вот где дали нам, мамкиным сынкам, привыкшим ходить вразвалку да есть вдоволь. Солдатского пайка явно не хватало, всегда подводило животы. После месячного карантина, активной муштровки мы похудели, из нас выжали все, как из мочала воду. Мы иногда старались увильнуть от утренней физзарядки, но нас тут же уличали командиры и наказывали.

У меня стала кружиться голова, я пошел на прием к военврачу.

— На что жалуетесь? — спросил доктор.

— Малокровие у меня, голова ходуном ходит, когда наклонюсь. Еды не хватает, — объясняю ему.

— Наверно, до армии по ведру картошки съедал, распустил брюхо? Тут паек, лишнего не съешь... молока крынку не выпьешь.

— Молоко и дома не всегда перепадало, у нас семья большая, коровенка плохо доится.

— Вот тебе рыбий жир. Пей, и пройдет. Меньше думай об еде, голова перестанет кружиться.

Через два месяца военной подготовки нам заменили шинели полушубками, буденовские шлемы — шапками, в общем, переобмундировали нас во все теплое, а затем и на фронт. Ехали мы без робости и боязни. И задушевным спутником была песня, которая отправлялась с нами в далекий и опасный путь.

Во время остановок гурьбой выскакивали из вагонов и без надобности носились по перронам вокзала. От Москвы настроение у нас изменилось, стали молчаливые и угрюмые. Каймонов с Хромовских все реже играли на гармони. Из вагонов мы не выходили, чтоб поглазеть на девчонок. Разбомбленные вокзалы были безлюдными. Села сожжены. Нам становилось жутко. Жалко было детей с матерями, ютившихся в лачугах среди развалин.

Мы становились все злее и злее, грозились отомстить врагу. Когда эшелон простаивал часами на станциях, мы нервничали и ругались, что тихо везут нас на фронт, будто от нашего участия в боях зависел исход войны. Мы мало что знали о ней.

В конце февраля 1942 года прибыли в Калугу.

Во время разгрузки нас бомбили. Гляжу, как замполит кинулся под груженную снарядами машину, я за ним. От взрывов бомб он вздрагивал и совал голову к диску баллона. Я делал то же самое. «Замполит знает, где не убьет, — думалось мне. — Машина же гружена снарядами, а они железные, их бомба не возьмет».

После бомбежки нас завели в ограду, обнесенную булыжником. Командир отчитывал нас за то, что кое-кто из разведчиков метался по перрону во время налета.

— Кто под машиной был?

— Я!.. Еще замполит, — не без гордости ответил я.

Королев посмотрел на замполита, потом подошел ко мне.

— Ты понимаешь, в какой опасности вы находились? Стоило попасть осколку в снаряд, как взорвались бы вы...

Дорогой из Калуги в Козельск нас бомбили и обстреливали «хейнкели» и «мессершмитты». Машины увязали в снегу. Нам меньше приходилось ехать, чем толкать свои полуторки. Затем вообще порастеряли их и до передовой добирались на лыжах, без продовольствия. И не только наша рота оказалась в таком аховом положении, а вся дивизия. Тылы от передовых частей или далеко отстали, или были разбомблены. Пехота с ходу вступила в бой, голодная. Разведчикам выдавали сухарные крошки. Тем, кому предстояло идти в поиск, выдавали пайковые сто граммов водки.

На пятые сутки снабжение улучшилось. Нам выдали по десять штук сухих урючин и на пятерых четырехсотграммовую банку мясных консервов.

Стояли мы в сосновом бору недалеко от села Серпы. По соседству с нами — конный парк 406-го артполка. Лошадей, которых убивало при обстреле, немедленно растаскивали артиллеристы.

Однажды фашистские самолеты налетели бомбить нашу рощу. Доброхотов что-то искал в углу землянки. При взрыве бомб он втягивал шею так, будто голова у него приросла к широким плечам, потом подполз к выходу и вмиг выскочил на улицу.

— Гришка! — прокричал Каймонов. — Он не на самолеты ли с топором?

— Кто его знает, слепоглазый бугай, — сказал Иван Хромовских. Бомбежка продолжалась. Небольшая наша землянка вздрагивала, и через щели накатника сыпалась на нас земля.

— Ну и коротыш! Куда же он? — негодовал Каймонов. — Всыплю ему, как вернется.

У Прокопия Каймонова было открытое лицо. Как бы припухлая верхняя губа делала его мальчишески юным. Светловолосый паренек был общительным, располагая к себе каждого. Перед отправкой на фронт его назначили нашим командиром отделения.

Бомбежка прекратилась, но Гриши не было. Прокопий вылез из землянки, крикнул:

— Эй, Федька, ты не видел, куда Доброхотов убежал?

Голос Черных чуть было слышно, и мы не поняли, что он ответил.

— А я думал, что ты всю бомбежку у балагана комроты крутился. Каптерочник несчастный, ответить путем не хочет, — проворчал Каймонов и спустился в землянку. — Видали вы, земляк-то наш три дня как в каптерке, а уже заелся.

— Нечего там есть-то! Мешки пусты, — заступился за Черных Михаил Московских.

Послышались шаги. Доброхотов вскочил в землянку.

— Куда носился? Почему без спросу? Как влуплю наряд! — зло кричал Каймонов.

— Что, на кухню рабочим меня отправишь? Там варить нечего, — огрызнулся Гриша.

— Ну, подожди, ты у меня узнаешь!..

— Ты, паря, не стращай меня. Разберись... Думал, что немцы лошадей бомбить будут, а они — пушки. Потом хватанули из пулеметов по парку и улетели. Ни одной клячи не убило. Хотел вперед артиллеристов отхватить задок у кобылы, вас накормить, а ты ругаешь.

Доброхотов высунул голову из землянки, втянул тяжелый вещмешок, бросил его к ногам Каймонова, сказал:

— Варите быстрее!

Гриша хоть и улыбнулся, но мы заметили, что он чем-то встревожен. Прокопий спросил его:

— Ты что-то, паря, не такой, шибко глазами моргаешь. Украл что ли? Или устал?

— Хуже. Убил...

— Кого? Где?

— Черт знает, сколько я облазил сегодня. Нет ничего. Идти дальше, ноги не тащут. Слышу в кустах что-то потрескивает. Ага. Вижу шевелится, ну я подкрался и бахнул его в лоб.

— Кого в лоб? Ружьем?!

— Да тише ты, Пронька!

— Топором убил. Одним махом. Он тоже изголодался, бедняга, не хуже нас. Кору на сосне грыз. Узды на нем не было. Наверно, от привязки оторвался, вот и бродил без присмотра.

— Ну, балда! Говоришь, как нищего из воды тащишь. Это мясо? — ощупывая мешок, Прокопий повеселел, и мы все засмеялись. — А я-то думал... Давайте костер! Воды побольше, похлебаем. Снег идет, самолеты не прилетят. Иди, покажи старшине, где остальное мясо. Пусть всех кормят.

Как немного нам, солдатам, тогда надо было: на седьмые сутки раз хорошо поели, тут тебе и шутки и смех.

На следующий день утром в землянку заглянул комиссар роты Иван Максимович Колесников.

— Кто тут вчера громко хохотал? — спросил он и спустился вниз.

Мы, оторопев, поджимали под себя ноги, давая ему место сесть.

— Ох, как темно! Нет, что ли, никого? Молчите? — спрашивал комиссар, садясь в проходе.

— Тут мы. Второе отделение. Командир я — Каймонов.

— Землянку-то надо проветрить. Наелись, что ли, здорово?

— Это Мишка у нас, — ответил Доброхотов.

Мы захихикали.

— Вот вы, товарищ боец, больше всех вчера хохотали, — указал комиссар на Доброхотова. — Я по голосу узнал. Как сегодня настроение у вас?

— Ничего, как вчера с обеда, — ответил за Гришу Каймонов.

— Ну отлично. Кто в вашем отделении самый сильный, отважный?

Мы разглядывали комиссара. Он был в черном полушубке, с планшеткой через плечо, без головного убора. Слегка рыжеватые волосы аккуратно приглажены. Разговаривая с нами, он широко и добродушно улыбался, что подкупало нас.

— Ну кто же сильный?

— Гришка. Он одним махом кобылу...

— Ну! — и Доброхотов махнул рукой на Московских.

Тот осекся. Потом поднес заскорузлый кулак под нос Доброхотову, прорычал:

— Ишо махнешь, так и примочу тебе по глазу.

— Понятно, — сказал Колесников. — Вот в чем дело, ребята: сегодня мы должны идти в поиски за «языком». Нужно подобрать по желанию группу захвата в четыре-пять человек. Приблизившись к цели, они должны будут ворваться во вражескую траншею и взять пленного. Для этого дела нужны храбрые разведчики, которые первыми бы ворвались в траншею. И сделаете это вы, Гриша и Михаил.

— Не знаю, смогу ли. Лучше на первый раз в поддерживающую бы группу, — сказал Доброхотов.

— Кому-то же надо первому. Все в роте еще новички в этом сложном деле. Два человека желающих уже есть.

— Ну, мы так мы, — сказал Гриша и заглянул в задумчивое лицо Московских, — что, Мишка, пойдем?

— Ага.

Комиссар еще долго беседовал с нами, расспрашивал каждого, откуда родом, остался ли кто дома из мужиков, комсомольцы мы или нет. Сколько кончали классов. Ну, а из города или деревни мы, он не спрашивал. Говор у всех был одинаков.

Перед выходом нам выдали, как обычно, по десять урючин и по сто граммов пайковой водки. На этот раз мы шли сытыми. Добыча Гриши оказалась подспорьем к урюку.

Наш взвод построили в прогалине соснового бора. С правого фланга стояли те, кто должен действовать в захватывающей группе. Ефрейтор Саша Сидоров, сибиряк, родом из города Белова. Перед войной он служил в кадровой армии. Глядя на него и на Гришу Доброхотова, стоящего рядом, и на всех остальных нас, конечно, можно было заметить,

что Саша выделялся солдатской выправкой. Несмотря на сложности солдатского быта, у него подшит к гимнастерке подворотничок.

Рядом с Сидоровым и Доброхотовым стоял высокий чернявый Леня Крамынин с миловидным юношеским лицом. Последним стоял худощавый веснушчатый ефрейтор Решетников. Все остальные входили в поддерживающую группу. Выправкой мы не отличались один от другого. На висках и подбородках только проступал пушок. Всем нам было по девятнадцать лет.

За «языком» шли впервые, под командой крепкого, рослого, широкого в плечах помкомвзвода Павлова. Откуда родом он и Решетников, не знаю.

По гребню высотки, заросшей хвойным лесом, взвод достиг нейтральной полосы. Смеркалось. Дул порывистый ветер, в небе плыли облака. Приняв боевой порядок, мы, не дождавшись темноты, двинулись по-пластунски к траншеям противника. Мы ползли, не соблюдая осторожности, снег под нами скрипел. Как похоже это было на затею мальчишеских лет, когда ползли мы по чужому огороду за огурцами. Почему немцы прекратили обстрел нашей передовой, мы не поняли. До нашего сознания опасность дошла только тогда, когда впереди нас оказалось не четыре человека, а больше. Все они бежали в нашу сторону. Раздался крик. Немцы окружали захватывающую группу.

Наша пехота открыла сильный огонь. Пехота противника застрочила по нам. От свиста пуль мы, как цыплята, не умевшие клевать, тыкались лицом в снег. Я сначала не мог различить, где бегут наши, где немцы. Те и другие были в белых маскхалатах. В глазах мелькало. Я не знал, в кого стрелять. Потом понял и, передергивая затвор, не метясь, палил в тех, кто был с автоматами. У нас во взводе в то время были только винтовки со штыками. Выпустив по врагу пять патронов, я расстегнул подсумок, чтобы взять обойму и зарядить винтовку. Из брезентового подсумка высыпались патроны. Торопливо выбирая их из снега, услышал сквозь выстрелы крик:

— Гришку схватили!

Я увидел в сугробе шевелящийся серый клубок, он как бы раскачивался. Вдруг из этой кучи образовался человек, побежал в сторону нашей пехоты. Это был Доброхотов.

Схватка с разведкой неприятеля подействовала на нас отрезвляюще. Мы приняли боевой порядок и упорно отбивались от наседающих немцев. Спасибо нашей пехоте, которая палила из винтовок и, не утихая, косила из «максима». Отползая назад, я оглянулся и увидел, как Михаил Московских ткнулся лицом в снег.

— Пронька, что это с Мишкой?! — кричу Каймонову.

Мы тут же развернулись и подползли к Московских. Он лежал неподвижно, крепко уцепившись правой рукой за винтовку.

— Мишка! Мишка! — тормошил его Прокопий, как сонного.

— Поставь ухо на рот, может, вздыхает,—подсказываю Каймонову.

— Убит... Потащим...

Мы, взяв Михаила за руки, волоком потянули за собой.

Одна за другой полетели ракеты в небо, разрывая вечернюю, только что наступившую темноту. Немцы очередями автоматов отыскивали нас на нейтральной полосе. Трассирующие пули свистели над головами. Мы с трудом выбрались из-под обстрела.

Так закончился наш первый поиск.

— Решетников, а ну вынести убитого!— услышал я голос Сидорова.

— Что ты приказываешь?.. Я тоже ефрейтор. Выноси сам, я не пойду, — отказался Решетников.

— Иннокентий Московских! Марченко! Вынести!

Они поползли за телом Павлова, а мы с Леней Крамыниным, положив труп Михаила Московских на носилки, прикрепленные к лыжам, повезли его в расположение роты.

Вернулись мы из разведки с двумя убитыми и двумя ранеными. Это был урок, запомнившийся надолго.

Михаил Московских первым погиб из братчан. В этих же поисках ранило Николая Токарева и Ивана Устюгова. Место Московских у нас занял Леня Крамынин.

В землянке была тишина. Огненные языки высовывались из ниши в стене, служившей нам очагом, лизали подвешенный котелок с водой.

— Пошто водку на пусты кишки дают? — проговорил Хромовских. — Тут ишо ребята свою отдали. «Пей, паря Ванча! Пей. Ты первый из нашей деревни в разведку идешь». Ну, я, дурак, и хлобыстнул полкружки — оглазел.

— А я наперво ничего чувствовал. Когда прошли с версту, начал запинаться носками за свои же пятки, — сказал Каймонов. — Не дай бог, если комиссар узнает, что мы пьяны были.

— Все чушь: узнает да попадет. А Мишки нет, — зло сказал Крамынин. — Что сегодня мать его во сне увидит? Завтра всей деревней сон будут разбирать. Ворожить... Пять братских ребят как не бывало. Двух по дороге ранило: Пашку Тельнова, Петьку Большешапова. Двух сегодня.... Первый раз пошли в разведку и налили шары. Ты, Пронька, тоже виноват. Ты командир, надо было урезонить своих. Нет... «Храбрее будем, покажем немчуре...» — Крамынин вздохнул...

— Ково болтаешь?! Ты что — комиссар, отчитываешь меня? — не понравилось Каймонову. — Сам и свою не выпил. Почему не одернул других? «Не надо чужу пить». Ты молчал, теперича поздно рассуждать. Ты, Ленька, комсомолец, наравне отвечаешь со мной за отделение.

— Я не оправдываюсь. Просто зло берет. Хорошо, что Гриша сильный — вырвался. А то бы «язык» немцам. Хромовских с пьяных глаз два раза пальнул по нему. За немца посчитал.

— Тьма, все перемешалось. В голове все ходуном, откуда узнаешь, кто прямо на нас бежит, — Хромовских взглянул на Доброхотова.

Тот, поджав под себя ноги, молча сидел в углу землянки.

Голова у него была перевязана. Лицо и руки исцарапаны. Суждено было кое-кому из нас испытать то, что испытал он. Все было впереди...

— Гриша, расскажи, как ты его свалил? — спросил Крамынин.

— Не охота. Язык не поворачивается. Очухаться ишо не могу.

— В глазах стоит, гад. Как они нас подкараулили? — разминаясь, заговорил Доброхотов. — Почему он не убил меня? Почему Решетников побежал? Можно было бы гранатами их забросать.

— Знамо дело, живым хотел взять, — сказал Прокопий. — Тому ефрейтору, наверное, вломят. Он бросил тебя.

— Немец хвать меня за рукав и наворачивает на спину себе, как волк овцу, — стал рассказывать Доброхотов. — Как я поймал его в охапку по-медвежьи, сам не пойму. Переломил ему спину и хряпнулся на него. Фриц меня за морду, порвал ухо. Винтовку мою он сразу вышиб из рук. Я за глотку его да так жулькнул, он ажно закосоротился, а я ишо давлю. Потом коленкой под дых ка-ак дам! И тягу: а пули фють, фють мимо уха.

— Наверно, здорово ты его в брюхо саданул? — сказал Хромовских.

— Давай попробую на тебе, узнаешь как по своим бить.

— Я же не нарочно стрельнул, — оправдывался тот.

— Сидоров какой шустрый. Когда убило Павлова, он вскочил и кричит на всю ивановску: «Взвод, слушай мою команду! Огонь!» — рассказывал Каймонов. — Мы давай палить, а вот Решетников не подчинился ему.

Перед утром мы уснули. Сколько спали, не знаю, раздался крик у землянки:

— Тревога! Тревога!

Быстро надев полушубки, мы, на ходу подпоясываясь, бежали к пустырю, где обычно строилась рота. Оттуда видна была поляна, поросшая мелким и редким кустарником. На поляне стояли двое. Над головой одного из них в солнечных лучах искрился штык винтовки. Рота построилась в полной боевой готовности.

— Куда это нас? — спрашиваю Крамынина.

— Не пойму. Даже повар Васильев и каптенармус Федька со старшиной с винтовками в строю.

— Равняйсь! Нап-ра-во! — скомандовал лейтенант Королев.

Став впереди колонны, он снова скомандовал:

— За мной ша-агом марш!

Мы шли напрямик и вышли на поляну. Снег был глубокий и попадал за голенища. Рота растянулась. Королев, оборачиваясь назад, кричал:

—А ну, подтянись! Подтянись!

Впереди вроде не быстро шли, а задние бежали.

— Кешка, смотри! — ткнул меня в бок Крамынин. — Костя Кочнев и Решетников стоят.

— Где? — кручу головой и не вижу.

— Вон у березки.

И тут я увидел Кочнева с винтовкой за спиной. Решетников стоял

без оружия и не по форме. Поравнявшись с ними, строй остановился. Командир роты скомандовал:

— На-лев-во!

Мы уставились на Решетникова. Его осунувшееся, изнуренное лицо было бледно-синим. Казалось, что он стал меньше ростом, чем был. Нервно топтался на месте и стискивал на груди длинные заскорузлые пальцы. У Кочнева тоже был растерянный вид. Он, как бы стесняясь нас, опустил голову. До меня еще не доходило. Я в каком-то испуге смотрел по сторонам, словно искал ответа. «Что же будет с ним?» Я слышал голос лейтенанта Дубовихина, но ничего не понимал. Последние слова у меня не стерлись в памяти и по сей день:

— Вследствие паникерства ефрейтора Решетникова были сорваны поиски. Погиб помкомвзвода Павлов, красноармеец Московских, и двоих ранило. Он убежал, оставив в беде своего напарника Доброхотова, которого чуть не взяли в плен... Решетникова приговорить к расстрелу. Приговор привести в исполнение, — и тут же прострочил из автомата по Решетникову.

Тот подался вперед, развернулся винтом, упал.

Нас повели в расположение роты. Я еле переступал: ноги не слушались, подсекались в поджилках.

Забравшись в землянку, мы пролежали до позднего вечера молча.

Весенний вечер был теплым, но печурка у нас топилась. Лиственничные дрова трещали, стреляя искрами. Часть дыма уходила в примитивную трубу, а большая часть валила к потолку, и жилище наше разделялось на два слоя. Человек, зашедший с улицы, едва мог продохнуть.

Сколько бы мы еще обдумывали эту трагедию, не знаю, если бы комиссар не спустился к нам в землянку. Он сел там же и так же, как в прошлый раз, подобрал под себя ноги.

— Иван, открой вверху отдушину, — приказал Каймонов. — Пусть вытянет дым.

Хромовских поднялся, сгорбился, не знал, как выйти. Землянка была на пятерых, тесная, тут еще комиссар сел у выхода.

— Проходи смелее, я на твое место сяду, — сказал Колесников. Поправив противогаз в изголовье, он лег на спину. — Вот совсем другой табак... Глаза не ест.

— Кешка, покочегарь-ка печку, светлее будет, — распоряжался Прокопий.

Выбирая несмоляные полешки, укладывал их крест-накрест, а сам воровато поглядывал на комиссара. Дым заметно вытягивало в отверстие, стало светлее. Лицо Колесникова хорошо выделялось. Подложив руки под голову, он молчал, задумчиво помаргивал глазами. Стало тихо, слышалось, как мы, чавкая, жуем серу. Прокопий иногда пощелкивал.

— Что вы жуете? — спросил комиссар.

— Серу. Вчера с лиственницы наколупали, — ответил Каймонов. — Может, попробуете? — Прокопий вынул из-под козырька жвачку. — Она ишо нова, я ее мало жувал.

— Да нет...

Снова наступила тишина. Иван Хромовских бросил в проход дрова, спрыгнул в землянку, сел на них.

— Грустите? — тихо спросил комиссар. Облокотившись, он положил голову на ладонь. — Мать, отец есть у него?

— У Московских есть, у Решетникова — не знаю, — ответил Крамынин.

— Надо отомстить за смерть земляка фашистам.

— Чем отомстить-то? Винтовкой? Мы вчера взводом и сотню патронов, наверно, не выстрелили, а немцы высадили тысячи в нас. Если бы не пехота, лежали бы сейчас все там... Подсумки тряпошны как расстегнул, так патроны посыпались из них. У меня так случилось вчера. Хватился — патронов нет.

— У меня тоже, — поддакнул я.

— Ни одного автомата в роте. Ползешь с винтовкой длиннущей, за что-нибудь да подденешься штыком. Как острога, которой у нас в Ангаре рыбу колют, — Крамынин замолчал.

— Высказывайте все, высказывайте, не стесняйтесь, слушаю вас...

Мы все глядели на Крамынина, хотели, чтобы он разговаривал с Колесниковым. Леня был уравновешенный, рассудительный, умный паренек. Но он молчал.

— Жалко Решетникова, — почти шепотом проговорил Доброхотов.

— Можно было в тюрьму посадить, не расстреливать.

— Хорошенькое дело... Ты воюй, а паникер будет сидеть и ждать, когда война кончится. Неплохое наказание.

— Какой он паникер. Мог бы и другой так сделать. Немцы как выскочили из окопов и к нам, ну он испугался — убежал.

— Если бы ты так сделал... Тебя бы расстреляли. Но ты не побежал.

Гриша замолчал.

— Думаете, мне не жалко его как человека? Молодой, не обстрелян... Но...

Комиссар обвел нас взглядом.

— Вот вы что-то хотите сказать? — кивнул он головой в сторону Каймонова.

— Я что ли? — Прокопий ткнул себя в грудь пальцем.

— Да.

— Ладно, скажу. Почему у нас со жратвой плохо?

Лейтенант немного помедлил, как бы собираясь с мыслями, начал объяснять:

— Да, положение у нас не из легких. Немцы парализовали транспорт нашей дивизии. В Борятинске разбомбили эшелон с продовольствием. Конечная железнодорожная станция находится от нас далеко. Шоссейные и проселочные дороги заносятся беспрерывно снегом. На машинах проехать невозможно. На лошадях — медленно. К тому же самолеты противника день и ночь патрулируют дороги и бомбят. Много других неполадок...

— Так-то оно так. А почему наших самолетов не видно? — спросил Крамынин.

— Фронт большой, они на более ответственных участках.

— А танки тоже там? — жуя серу, спросил Доброхотов.

— Вот бы те танки пригнали сюда, которые в кино самураев давили.

— Вот это бы да! — сказал Гриша.

— Серу-то вытащи, когда разговариваешь, — заметил Каймонов.

Разговор продолжался. Иван Максимович объяснил нам положение дел на фронте, в тылу.

— Для того, чтобы демонтировать заводы оборонного значения и перевезти их на Урал или к вам в Сибирь, нужны люди, транспорт. Потом смонтировать, пустить его в ход — это ведь не так просто. Какие средства затрачивает государство, вы и представить себе не можете. Кроме эвакуации заводов, материальных и культурных ценностей страны, нужно перевезти войска, технику, боеприпасы, продовольствие, эвакуировать беженцев, оставшихся без крова. Вот какое положение, ребята, — говорил комиссар. — Ничего, скоро все встанет на свои места. Нужно правильно понять...

Иван Максимович поднялся.

— Ну, пора спать вам, до свидания.

— Товарищ лейтенант, вы не подумайте, что мы хныкаем, что плохо кормят нас. Нет, — как бы оправдываясь за всех, проговорил Каймонов. — Мы просто думали, что старшина наш плохо работает. Да помощником себе взял Федьку. Мы его знаем, он дома еще ленивый был.

— Нет! Нет, ребята, — сказал комиссар и вышел на улицу. Накрыв выход землянки ковром, сплетенным из прутьев, крикнул:

— Ну, бывайте! Паники меньше...

— Что это он зачастил к нам? — сказал Хромовских. — Однако, опять хочет сосватать кого-нибудь из нас в захватывающую группу.

— Нет уж, хватит, пусть с другого взвода ищут, — проговорил Доброхотов.

— Ну, и шуты же вы, — засмеялся Крамынин. — Да разве он будет спрашивать кого, прикажет и все. Это вам не в колхозе спорить с бригадиром. Смотри, как комиссар умеет разговаривать. Однако, шибко грамотный. Всю политику знает.

— Давайте спать, — сказал Каймонов.

Во вкус опасного ремесла разведчика вошли мы не сразу. О том, что предстоит идти в разведку, мы узнали накануне. Но готовились постоянно. Чистили оружие, проверяли гранаты.

Разведка должна была действовать в западном районе независимо от того, как ведет себя противник. Если он и обнаруживал нас, открывал огонь, мы все равно не меняли направления. Наши лобовые действия приводили к бессмысленной гибели многих бойцов.

В этих сложных условиях особенно остро ощущался недостаток кадровых офицеров разведки. Именно в это время к нам прибыл лей-

тенант, фамилию которого я забыл. Назову его Непомнящих. Невысокий, неширокий в плечах, сутуловатый, с плоской грудью, он словно стер ее, ползая по-пластунски. Загорелое и обветренное дубленое лицо. Глаза светлые. Еще запомнилось мне, как однажды вечером он плясал барыню: не справа налево, а слева направо. Он прошелся по кругу, встречаясь с плясуном Каймоновым. Лейтенанту было лет двадцать пять—тридцать. Это был кадровый офицер, дважды раненный в боях, побывавший даже в партизанах. С его приходом в нашу роту многое изменилось к лучшему. До появления Непомнящих готовились мы в разведку так: выстроят взвод, скажут, в каком направлении предстоит действовать, а затем проверят карманы, не позабыты ли в них письма или какие-либо документы. Хотя у нас и ничего не бывало, кроме «предсмертных» паспортов: в латунной трубочке домашний адрес. Однако замполит все же проверял.

В нашей роте было три взвода, которые ходили в поиск по очереди. Таким образом, каждый взвод располагал двумя сутками перерыва. Это время новый командир использовал для подготовки. Днем и ночью мы вели наблюдение за передним краем, изучали расположение противника, выискивая уязвимые места в его обороне. Выбрав место для наблюдения за противником в относительной близости от него, командир учил нас видеть, примечать каждую мелочь. Чаще всего пользовались мы нейтральной полосой.

Мы не сразу привыкли к этому, так как лишились привычного отдыха, но зато в разведку шли подготовленными, стали чувствовать себя увереннее, и пусть не сразу, но нам стал сопутствовать успех. Мы знали, как продвигаться вперед по нейтральной полосе, как отходить. План поисков разрабатывался командиром, но в основе его были наши наблюдения, и это делало задачу для каждого из нас понятной, близкой. Если по какой-либо причине не удавалось выполнить задание на намеченном участке, командир быстро уводил нас для выполнения другого, заранее подготовленного варианта. Командир четко определял задачу каждого из нас. Он распределял нас попарно, устанавливая, кто за кого отвечает персонально в том случае, если один из нас будет ранен или убит.

Разведка противника, с которой мы много раз сталкивались лицом к лицу, больше уже не заставала нас врасплох. Завязывались ожесточенные бои, в которых обе стороны несли большие потери. Но «языка» мы так и не могли пока взять.

Немцы стояли в обороне. Окопались они основательно, а ночью выставляли усиленные посты, подступиться к ним было почти невозможно. С наступлением темноты и до рассвета передний край освещался ракетами и безостановочно простреливался пулеметным и артиллерийским огнем.

Стоял апрель. Солнце плавило остатки почерневшего снега, а мы ходили в шубах и валенках. Война не ждала, пока мы удосужимся сменить обмундирование. Она каждый день и час ставила перед нами зада-

чи, одну сложнее другой, и их следовало решать без промедления.

Артиллерийский полк, дислоцировавшийся рядом с нашей ротой, не был обеспечен снарядами. Дело доходило до того, что за снарядами шли пешком за двадцать пять километров на станцию Борятинск, оттуда доставляли их на себе, по два снаряда на человека.

В одну из апрельских ночей наш взвод получил задание добыть «языка», но вернулся ни с чем. Тяжело и горько было переживать неудачу. Готовилось наступление, и если бы мы сумели раздобыть «языка», то это облегчило бы задачу командования.

После неудач пехоты разведрота получила задание: взять село Сенинки.

Перед предстоящим штурмом, как и перед поисками, нам выдали по десять урючин и на пятерых четырехсотграммовую банку мясных консервов. Мы едва-едва дошли до передовой. Когда последовала команда «ложись», солдаты не ложились, а от усталости с ходу бухались в грязь. Было это в ночь на 12 апреля 1942 года.

Я, как сейчас, помню: в валенках у меня хлюпала вода, за дорогу стер пятки, жало ноги. Дул порывистый ветер, хлеща в лицо дождем и снегом. Шуба раскисла от слякоти. По швам ее пробиралась до тела мокрота. Мы все выглядели так, как будто только что нас вытащили из грязи. Тяжело было говорить от пустоты в желудке.

Сначала я лежал, как на учебных стрельбах... Приподняв голову, всматривался вперед. От напряжения казалось мне, что от тяжести головы скрипит шея. Прислонившись к ложу своей винтовки, я не помню, как уснул. Очнулся от удара в бок.

— Встать! Вперед! — негромко прокричал Непомнящих. В его голосе чувствовалась настойчивость.

Пытаясь вскочить, я тут же ткнулся головой в землю, перемешанную со снегом. Он поднял меня.

В ночной тьме маячили силуэты людей, и я потянулся за ними, еще не соображая, куда иду.

— Я, паря, думал, что ты помер, — еле слышно проговорил Доброхотов.

— Куда идем?

— Сам не пойму. Я тоже спал. Замерз.

Взвилась ракета, вторая, я увидел своих. Кто шел впереди, кто рядом со мной, держа на изготовку винтовки. Слышалось шарканье ног позади. Противник открыл огонь. Мы шли. Со всех сторон затрещали пулеметы и забухали орудия. Мы шли. В одном краю нашего развернутого строя роты кричали раненые.

— Ложись! — прокричал командир.

Упали. Огонь усилился. Свистели пули, шуршали осколки. Мы лежали...

Взять Сенинки нам не удалось.

...Крамынин был рядовым, как и мы, ровесник наш, но его слушались, а иногда даже побаивались. Он был серьезный, умный паренек, не

терпел болтовню, особенно хвастовство. Иногда он одергивал кого-нибудь из рассказчиков скрипучим голосом: «Кончай болтать!» Если же тот не прекращал, Леня уходил из солдатского круга и просиживал где-нибудь один, пока не разойдутся солдаты.

— Ленька, ты пошто не людный? Сам не разговариваешь и нам запрещаешь? — спрашивал Каймонов.

— Тебе надо в товарищи Митьку Дорофеева. Он тоже как волчонок на людей смотрит и ни с кем не разговаривает.

— Они смеяться-то отвыкли, а может, совсем не умели. Из них двоих надо отделение сделать. Пусть молчат, а мы ржали и будем ржать. Умирать, так с музыкой.

— Я не запрещаю смеяться вам. Прав на то нет у меня, — оправдывался Крамынин. — Но вот зазря болтать не люблю и не хочу слушать. Не до болтовни сейчас.

— Ну и что, по-твоему, теперича делать нам? Заживо в могилу зарываться? — спрашивал его Хромовских.

Было тепло. Пахло хвоей. Жмурясь от косых солнечных лучей, просачивающихся между деревьями, мы обминали с полушубков грязь, принесенную нами с нейтральной полосы. Ватные брюки высохли на нас. Валенки подсохли сверху. Внутри было сыро. Приводя себя в порядок, мы посматривали на каптерку старшины. Минули сутки, а у нас во рту и крошки не было. Но скулы постоянно работали, мы беспрестанно жевали серу, как коровы жуют жвачку. Есть хотелось чертовски.

Вскоре после того попал я в медсанбат и пролежал там десять дней.

Там я узнал от одного раненого разведчика радостную новость.

— Да, у нас теперь со жратвой наладилось, — говорил он. — На парашютах сбрасывают продукты для нашей дивизии. Обмундирование сменили. Всем сапоги выдали. И печаль большая, — понизил голос курносый солдат. — Пятнадцатого апреля командира роты Королева и комиссара Колесникова судили. Казнь присудили им — расстрел.

— Расстреляли?

— Не знаю. Говорят, что не имеют права, пока Москва не утвердит приговор. Два вечера в роте мы строчили письма Калинину да подписывались...

30 апреля мы покидали свое расположение. Роту отвели на отдых в район Мосальска. Расположились в начавшей зеленеть березовой роще.

Сменили обмундирование, основательно наладилось с продовольствием, начались учебные занятия.

Однажды вечером Иван Хромовских сообщил нам новость.

— Ой, что это! Ой, кого я видел?! — стоя на коленях в палатке, ойкал он.

— Ну, что, что? Говори! — с нетерпением спрашивал его Каймонов.

— Борода така черна да лохмата, во все лицо. Худущий. Сидит в палатке у Непомнящих.

— Кто? Лешего, что ли, видел?

— Ой, да это что такое? Как же это?

— Ты что, умишком чокнулся?! Кого видел?!—вмешался Крамынин.

— Да я же говорю, кого! Королева!..

— Да ты кого болтаешь? Тьфу, трепач! — плюнул Каймонов, а сам уставился на него остекленевшими глазами.

Нам была невмоготу неясность, и Гриша толкнул ногой Хромовских так, что он вылетел из палатки.

— Трепач, говорить-то по-путевому не может! — прорычал Доброхотов.

— Гриш, Гриш! Ты что? — испуганно спрашивал Иван. — Я Королева видел, борода больша...

— Где? Где? Или ты белены объелся? — в недоумении кричал Прокопий.

—Пойдемте, покажу, — как бы в оправдание позвал нас Хромовских.

Выйдя на улицу, мы увидели толпу солдат возле палатки командиров взводов.

— Что-то, правда, есть, — сказал я и кинулся бегом к толпе.

Солдатское кольцо было плотным, и пробиться через него я не мог. Тогда я сунулся под ноги, чтобы пробраться ближе к палатке и увидеть Королева. Ноги людей были словно сплетены, я вынырнул оттуда с отдавленными руками. Толпа роптала, и голос Королева заглушался.

— Тихо! — закричал кто-то из ребят. — Не слышно.

И тут я услышал чей-то голос:

— Где комиссар?

— Он взвод принял в пехотном полку нашей дивизии, — ответил Королев. — Ладно, хлопцы, расходитесь. Надо отдохнуть.

Толпа ринулась от палатки.

Назавтра мы увидели Королева. На воротничке его гимнастерки кубиков не было. Короче говоря, Королев ходил с нами в разведку как рядовой. Он ничего не рассказывал нам о себе, не сетовал на судьбу, которая заставила его снова начать службу солдатом. Королев оказался в нашем взводе. В разведке он показал себя смелым и решительным человеком. Он принадлежал к числу тех командиров, к которым солдаты привязываются всей душой, но происходит это не сразу: требуется время, должны произойти какие-то события, чтобы солдаты узнали ближе своего командира.

Осталась позади затяжная весна, и наступило лето. Зацвели смоленские поля. На западном фронте было затишье. Противник и наши глубоко закопались в землю и лишь изредка вели перестрелки. Командир взвода Непомнящих не давал нам передышки. Невзирая на дождь, он проводил ночные и дневные тактические занятия.

В начале июня мы несколько суток не выходили с НП; вели наблюдение за передним краем противника.

— Кто еще не был в захватывающей группе? — спросил командир взвода.

В захватывающей группе было опаснее действовать, чем в поддерживающей: не отзовись на вопрос командира, прослывешь трусом, и я откликнулся.

— Я тоже нет, — сказал Иннокентий Московских.

— Ну, и я не был, — проговорил Каймонов.

— Хватит. Пойдете со мной. С группой обеспечения — Королев.

Когда Непомнящих инструктировал нас, Королева не было, он лазил по траншеям, расспрашивал пехотинцев, как лучше добраться к немцам. Находясь день и ночь на передовой, они знали все слабые места противника. Нужно было предупредить командование роты, на участке которой мы должны действовать.

— Я с тройкой пойду раньше, — говорил Непомнящих солдатам, входящим в поддерживающую группу. — Вы подождете Королева. Нам добраться нужно засветло и поближе, хорошо посмотреть за противником... По ржи подход хороший, группа наша небольшая, не заметят.

После дождливой погоды наступили жаркие дни. Нещадно палило солнце. Бурьян покачивался от нагретого воздуха, и вместе с ним колыхалось на почерневшем пригорке село Павлово, занятое немцами. Нам надлежало по полю колосящейся ржи подобраться к дому, стоявшему на отшибе. Виднелся журавль над срубом колодца.

— Эх, попить бы колодезной водички, — изнемогая от вечерней духоты, хрипловатым голосом произнес Каймонов.

Грязный пот ручейками стекал по его лицу. Откуда-то раздался одиночный выстрел в сторону нашей передовой, затем еще и еще.

— Где же он, сволочь, снайпер? — высовывая голову из ржи, спросил Непомнящих.

Мы с большой осторожностью проползли еще немного вперед. Отсюда хорошо виделось — дом срублен был не из ровного леса, одно бревно толще другого. Крыша соломенная, убогая. К концу стропила, с левой стороны от нас был прикреплен длинный шест со скворечницей. Окна забиты досками. Позади дома проходили траншеи противника. Далее как бы вымершее село Павлово.

— Почему этот домишко на отшибе? — сказал Каймонов. — Он хуже нашей бани. Наверное, хозяин лентяй был или вор?.. Потому и в деревню его не пустили. Даже ограды и стайки для скота нет, — шепотом говорил Прокопий.

Солнечные лучи остывали. Солнце опускалось к горизонту. Далеко виделось без бинокля, но Непомнящих не отрывал его от глаз.

— Смотрите, ниже левого окна дыра в стене дома и что-то блестит, — сказал командир и подал бинокль Каймонову.

— Ага. Окошечко. Специально вырезали, — заметил тот и передал бинокль мне.

Я поглядел в бинокль. Домик, казалось, можно рукой достать. Ок-

но было, как отдушина в подполье. Возле него стояло две ветки с пожелтевшими листьями. Это была маскировка.

После меня посмотрел в бинокль Московских и, не сказав ни слова, передал его Непомнящих.

Иннокентий Московских был небольшой ростом и средней плотности, молчалив. На его смуглом лице редко было можно видеть улыбку. Его не сменяй часами с поста или отправляй еженощно в разведку, он ничего бы не сказал. Словно лошадка, на которой можно пахать без конца, пока она не упадет.

— Кешка, что видел? — спросил его Каймонов.

— Дыру в стене.

— Какую дыру?

— Такую, какую ты видел.

— Сколько у нас во взводе Кешек? — спросил лейтенант.

— Есть ишо один. Кешка Бурнин. Хороший парень,—ответил Прокопий.

Раздался выстрел, и мы заметили дымок, поднимавшийся вверх из отверстия в доме.

— Вот оно, окошечко. Снайпер из него бьет, — проговорил Непомнящих и посмотрел на небо. — Ночь будет прекрасная, облаками затягивает. Не зря парило сегодня. Дождь бы был. Но как его взять оттуда, снайпера?

— Гранатой подранить, — сказал Прокопий.

— Если убьем? А если там живут? Да дети? Тогда что? — размышляя, говорил лейтенант.

Только стемнело, из-за угла домишка вынырнул немец. Он шел крупным шагом к низенькому крылечку, один миг, и скрылся за дверью в избе.

— Видели? — процедил сквозь зубы лейтенант. — Наверное, смена? Или еще что?..

— Смотрите! Вышел! — прошептал Каймонов. — Точно смена, этот совсем маленький ростом. Тот большой был, в каске.

— Где же Королев? Надо к колодцу...

— По всей вероятности они тут воду берут. Засаду сделаем.

Колодец был от нас близко. От межи, за которой лежали мы, тянулся бурьян к дому. Изредка поднимались ракеты из траншей противника. Тень дома закрывала колодец. Позади нас послышался шорох. К нам подполз Королев с группой солдат. Командир взвода посоветовался с Федором Ефимовичем.

Из окна посыпались искры, и тут же раздался звук пулемета. Дав две коротких очереди, он умолк.

— Давай ближе! — позвал Каймонов.

Мы подползли с Московских и легли рядом с ним.

— Днем снайпер тут сидит, ночью пулеметчик, — сказал Непомнящих. — Вот что, мы с Каймоновым засядем вблизь колодца, вы левее нас. Видели бревно? Будете за ним: лоб в лоб с немцем. В случае, кто за водой, хватаешь. Пулеметчик может обнаружить нас при взятии... Вы прикрываете. Бейте в искры, не промажете в окно, близко.

— Понятно? — спросил он нас. — Черемных, на́ мой автомат, вот диск запасной. Давай винтовку, патроны.

Крадучись, как кот на добыче, он шмыгнул в сторону колодца, Каймонов за ним. Мы поползли прямо к дому. Бревно послужило нам защитой и укрытием от пулеметчика. С трудом разглядев отверстие, черневшее в стене, мы, положив на дерево стволы своего оружия, затаили дыхание. Кругом было тихо. Пролежали, наверное, с полчаса до того, как недалеко от дома блеснул свет, и тут же последовал залп орудий. Потом озарилось слева, справа, впереди нас. Артиллерийский рокот разнесся по всей окрестности. Застрочил пулемет в доме. Трассирующие пули морзянкой прошли выше нас с Московских.

Это был вечерний обстрел наших боевых позиций. В такое время старшины привозили ужин... Артиллерийско-минометный налет был непродолжительным. Он затих так же внезапно, как и начался.

Лежим. Временами посматриваю на Иннокентия. Шептаться нельзя, враг близко. По моему расчету время подходит к полуночи. Никто не идет за водой. С запада надвигается черная туча. Затем градом застучали о бревно крупные капли дождя. Запахло пылью. Почувствовался холодок на спине, и тут вынырнула из-за угла лошадиная морда. Потом кухня. На ней сидел человек. Обменявшись тихими окликами с пулеметчиком, он остановился у колодца. Зазвенело ведро, и тут же послышался глухой звук, мяуканье, и снова тишина. Мы, не оглядываясь назад, зорко смотрели в одну точку. Пулеметчик вел себя спокойно. Подошло время отходить. Мы быстро двинулись назад. Шум дождя заглушал наш шорох. Мы незамеченными отползли от бревна. Еще немного, и мы у межи.

— Фьють! — послышался тихий свист впереди нас во ржи.

Перевалившись через межу, я как бы свалил с плеч огромную ношу. Нервное напряжение как рукой сняло.

— Язык есть. Повар, он в халате, — прошептал нам Каймонов. — У тебя сера есть? Во рту пересохло. Язык стал шершавый.

— Нету, — ответил я.

Каймонов повернулся к Непомнящих.

— Товарищ лейтенант, дождь хлещет, можно к колодцу попить?

— Ты с ума сошел? — сказал тот.

— Хоть с боем, хоть как, я готов к колодцу. С утра росинки во рту не было.

— Разрешите. Там лошадь стоит. Фриц подумает, что повар еще кухню не заполнил, — уговаривал Прокопий.

— Как достанешь? Ведро-то с вожжами в колодец упало, когда я его стукнул.

— Обмотки есть, свяжем, каску с пленного снимем.

Лейтенант молчал.

— Разрешите? — настойчиво просил Каймонов.

— Подожди! Доброхотов, неси языка, Федор Ефимович, отходите. Мы воды достанем.

Колодец был глубокий, а обмоток только четыре, каска до воды не доставала. Гремя пряжками брючных ремней, мы быстро сняли их с себя, связали, снова опустили каску вниз. Со дна колодца донесся булькающий звук воды. Все вздохнули, вытирая пилотками губы.

С жадностью мы один за другим прикладывались к каске. Холодная вода освежила нас. Достали еще одну каску воды для ребят и один за другим отползли...

— Надо бы лошадь увести в роту, — сказал Каймонов.

— Зачем? Пусть немцы думают, что их повар упал в колодец, — отозвался Непомнящих.

Пытаясь догнать своих, мы шли в рост. Пригибались, если ракета поднималась ввысь. Нейтральная полоса была широка. С немцем шли тихо, и нам удалось догнать их. Каску воды выпили вмиг.

Дождь прекратился. Из-за разорванных бледных облаков вынырнула луна и недалеко от нас осветила траншеи нашей пехоты. Где-то работал пулемет «максим». Одиночных выстрелов не было слышно. Немецкий повар был огромный и с большим животом. Он был по пояс голый. Гимнастерки на нем не оказалось, а белый халат с него сдернули ребята, чтоб не пробеливало во тьме. «Язык» лежал на боку с перевязанными руками и мычал. Кляп во рту не давал ему свободно дышать.

— Гошка, волоките его с Гариковым, ваша очередь, — сказал Доброхотов.

— Или ты думаешь, что я этот бочонок потащу? Давай-ка поставим его на ноги.

Немец идти не хотел и снова рухнул назад. Марченко со злостью схватил его в охапку, тряхнул и бросил наземь.

— Встать, фашист! — и Георгий показал ему путь рукой. Пленный, вертя головой, стал подниматься. Гариков помог ему встать, махнул рукой, и они пошли вперед.

— Ишь, паразит, проехать на мне хотел. Я тебе не Гриша, — ворчал Марченко.

— Гариков, — тихо окликнул Крамынин. — Надень каску на фрица. Вдруг шальная прилетит, убьет. Он нам дороже хлеба...

Гариков был шустрый паренек, быстро надернул на немца каску и что-то по-татарски сказал ему, затем взял его под руку и потянул за собой.

Миновав поле, мы пошли к траншеям. Луна на западе стояла низко и вкось озаряла нас, идущих толпой. Серые облака словно спешили, как мы, высоко и быстро плыли над нами. Позади нашей передовой чернели лесные завалы, через которые нам предстояло перебраться, а там уже и безопасней. «Пулей не возьмешь», — думалось мне. Сердце учащенно билось от радости. Мы следом за немцем шли с Московских и смотрели по сторонам, держа оружие наготове, как заправские разведчики. Гариков, шедший впереди всех, свернул влево, и тут посыпались в упор ему искры, простроченные из пулемета.

— Ой! — крикнул я, почувствовав ожог в ноге.

— Свои, — прокричал Иннокентий и ринулся к нашему пулеметчику, вскочил в траншею.

— Свои! Стой! — послышались голоса позади нас.

Гариков упал у бруствера перед стволом «максима», немец у его ног.

— Что случилось? — прокричал Непомнящих и подскочил к Гарикову.

— Убил! Обоих!

— Бей гада! Паразит! — и Марченко очутился в траншее.

— Тихо! Не трогать! Прекратить! — унимал Королев.

Но Марченко матерился и с яростью бил пехотинца. Крамынин обхватил сзади Георгия и с трудом повалил его навзничь.

— Брось, дурак! — ругался Крамынин.

Послышался топот. С обоих краев траншеи бежали пехотинцы, бряцая затворами.

— Что происходит?! — спросил кто-то из них.

— Где командир взвода?! — прокричал Королев и заглянул пехотинцу в лицо. — Ах, это вы, молодой человек? Вы почему бьете своих? Вы что, не предупредили пулеметчиков?

— Как? Что? — в недоумении спрашивал тот юношеским голосом.

— Ваш подлец убил двоих! Понял? — ответил Королев.

— Кто у пулемета стоял?

— Я б-бы-л, — хныча ответил виновник.

— Как случилось? — допытывался пехотный командир.

— Я не-не знал. Меня не предупредили, что разведчики там.

— Почему не окликнул? — спросил Непомнящих.

— Дремал, увидел ку-кучу людей и...

— Видали его? Спал за пулеметом. Проснулся и врезал по нам. Товарищ лейтенант, почему вы лично не проинструктировали свои посты, что разведчики действуют в вашем районе? С вами же договорились.

— Виноват. Я поручил своему помощнику, старшему сержанту.

— Я рапорт подам на вас генералу Макарову! Он шкуру с вас спустит! — говорил Непомнящих.

— Знаю, — виновато ответил младший лейтенант и опустил голову, — фамилию запишите мою, — и он назвал свою фамилию и инициалы, свой полк, батальон, роту, взвод, которым командовал. — А ну, по местам! — крикнул он столпившимся в траншее пехотинцам.

Солдаты мигом разошлись.

— Разрешите быть свободным? — не прикладывая руку к козырьку, обратился младший лейтенант к нашему лейтенанту Непомнящих. — Мне нужно доложить своему командованию о происшествии.

— Идите... Так нелепо мы потеряли своего товарища и первого «языка».

Во время ночных поисков нам не раз приходилось попадать под свой артиллерийский обстрел, бомбежку нашей авиации. Испытывали на себе и мощь термитных снарядов «катюш». Не всегда предоставля-

лась возможность предупредить пехоту, которая при возвращении от немецких траншей обстреливала нас...

По ходу действий разные встречались обстоятельства, и мы вынуждены были уклоняться от заданного маршрута. Влево, вправо или углубляться далеко вперед... Такой уж удел разведчика — всегда и всюду на мушке...

Как мы были рады сегодня. Ни единого выстрела при взятии «языка». Погода как бы на нас работала: пошел порывистый дождь, подул ветер, создавая шум вокруг. Все благоприятствовало нам, и тут, на тебе, такой нелепый исход. Мы готовы были раздавить пулеметчика. Что поделаешь, на войне всякое бывает...

Ранение оказалось у меня легкое, и я лечился в санбате. За это время многое изменилось в нашей дивизии: она пополнилась людьми, вооружением. Произошла перемена командования в нашей роте. При взятии трех сел Павловых 548-м полком с участием нашего взвода Королев чем-то отличился в бою и был восстановлен в должности. У него снова появились на воротнике гимнастерки знаки отличия лейтенанта. Он принял разведроту. Мы, солдаты, до глубины души были рады за него и это известие встретили возгласом «ура!». Королев командовал ротой, а мы все еще относились к нему как к равному.

Однажды случилось так: мы с Доброхотовым при Королеве матерились. Он строго посмотрел на нас и, ничего не говоря, ушел. Спустя некоторое время в блиндаж вошел каптенармус Федор Черных и сказал, что командир роты вызывает нас к себе. Мы тотчас же явились. Королев пригласил пообедать вместе с ним. Я по-солдатски запустил в котелок ложку и обнаружил много мяса.

— Ого! — воскликнул я с удивлением.

Королев смутился, тут же вызвал повара, устроил ему основательный разгон, затем приказал:

— Заберите суп, налейте, как положено, три солдатских порции.

Повар только хотел взять котелок, как Доброхотов уцепился за посудину, сказал:

— Не надо, какой уж есть, съедим.

Во время обеда Доброхотов спросил Королева:

— Где сейчас наш комиссар Колесников?

— Да, судьба его сложилась иначе, — сказал командир. — Он был направлен в одно из подразделений дивизии и командовал взводом. При наступлении получил тяжелое ранение. Из медсанбата мне сообщили о состоянии его здоровья. Придя в санбат, я узнал, что Иван Максимович попросил медсестру выстирать ему домашнее белье. Сам при этом сказал: «Это жена Тоня сшила мне перед отправкой на фронт, наденьте его на меня, в нем умру». Когда белье было готово и сестра принесла его, комиссар был уже мертв.

На прощание Королев сказал: «Ну, бывайте здоровы, а брань, недостойную советского солдата, оставьте, а не то накажу вас по всей строгости. Друзья — друзьями, а служба — службой... Еще скажу по

секрету. Завтра покидаем Смоленщину. По всей вероятности, едем под Сталинград».

ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Под Сталинградом немцев приостановили, они крепко закопались в землю, опутались сетью колючей проволоки, заминировали поля. Куда ни глянь, всюду голая степь, трава выгорела или скошена свинцом и осколками мин. Нигде ни кустика, невозможно скрытно подобраться к траншеям врага. Позиции немцев беспрерывно освещались ракетами. Это осложняло нашу работу, и еженощные поиски, длившиеся месяц, были безуспешны.

Однажды подползли к минному полю и ждали, когда саперы разминируют нам коридор для прохода, и вдруг услышали голос немца.

— Русс, ты идешь сегодня разведка. Мы ждем тебя.

Прошло несколько минут, мы уже ползли по разминированной полоске. Снова послышался голос немца и уже совсем близко.

— А, ты пришоль? Кушай, свинья.

И на нас обрушился шквал пулеметного огня. Противник обнаружил саперов. Впереди нас раздался стон. Мы открыли огонь из двадцати автоматов, чтобы дать возможность саперам-разведчикам отойти. Но пара не двигалась. Нужно было их выносить, и пока мы, вынося их, отходили, был ранен командир третьего отделения Перелом. Один из саперов оказался мертвым, другой — тяжело раненным.

Помнится мне, как однажды командир роты старший лейтенант Федор Королев, давая задание нам, со злостью спросил:

— Товарищи, будет, наконец, «язык» или нет? Разведчики соседних дивизий, справа и слева от нас, редкий раз возвращаются из разведки без пленного. Например, в 41-й дивизии вчера привели офицера. А вы, кроме потерь своих товарищей, ничего и ничего. В чем дело? Знаем, верим, что нелегко, но «язык» нужен, как воздух, и вы возьмете его, я надеюсь.

Мы сомневались, что разведчики других дивизий имеют успех, но все-таки задумались... Всю ночь мы ползли. Два захода сделали, но взять «языка» нам не удалось.

Бои по-прежнему были упорными, яростными: не на жизнь, а на смерть. Каждый день мы не досчитывались кого-нибудь. Наша разведрота стала пополняться за счет комендантского взвода дивизии и запасного полка.

Стояли мы в балке Каменной, в пяти километрах от передней линии. В ней же располагался штаб дивизии.

Однажды, придя с НП, мы увидели у блиндажа командира роты толпившихся незнакомых солдат.

— Не смена ли пришла нам? — сказал Каймонов. — Нет, наверное, пополнение, а ну-ка, я пойду.

— Вот бы сменили нас, да отдохнуть, — проговорил Доброхотов.

— Какая смена, давно ли мы формировались, — сказал Крамынин.

— Вон, смотрите, Пронька уже двух ведет.

Два новичка шли за Каймоновым. Серое от пыли обмундирование и на вид усталые лица, но один из них, что был повыше и коренастее другого, весело болтал. Проходя мимо солдат, он вертел головой то вправо, то влево, широко улыбался и подмигивал им, как будто знал их. На поясах у новичков в чехлах висели маленькие саперные лопаты, за спиной вещевые мешки, через плечо скатки шинелей. Они были без оружия, оба молодые парни.

Второй солдат шел мелким шагом, опустив голову. Вид у него был недовольный, взгляд угрюмый и сухой.

Подойдя к нам, первый солдат сильнее прежнего расплылся в улыбке. Загорелое краснощекое лицо говорило о его здоровье. Нос слегка приплюснут, глаза сверкали веселым задором. Остановившись, он проговорил:

— Привет, кирюхи, служить разведчиками к вам пришли. Борисом звать, фамилия моя Леготин. Кореш мой Коваленкой зовется. Имя не успел спросить. Надо рассупониться, — он быстро снял поясной ремень.

Коваленко медленно снимал заплечный мешок, не поднимая головы.

— Он что, друг-то твой, сердитый, не здоровается? — спросил Доброхотов.

— Жрать хочет, — ответил Леготин. — Натощак весь день шли. Утром в садках похамали и баста, — глядя в сторону кухни, где Васильев колол дрова, спросил: — Как звать кашевара? Надо познакомиться. А он ничего у вас, справный, наверное, пакостливый? От своего пайка брюхо не наешь.

Мы, сидя в кружке, чистили оружие, смотрели и слушали болтливого пришельца. Коваленко отошел от нас, сел на бровку моего ровика.

— Ну, друзья, — сказал Каймонов новичкам, — пошли за оружием.

— Ты, значит, бугор мой? — спросил Леготин.

— Не бугор, а командир отделения, — ответил Прокопий.

— Мы так бригадира там звали. Ничего, привыкну, командиром буду звать. В случае по ошибке назову бугром, не сердись. Кирюха! Потопали! — окликнул Борис товарища и пошел вразвалку за командиром отделения.

Коваленко нехотя встал и потянулся следом за Леготиным.

— Что за солдат? Как волк исподлобья смотрит, — сказал Крамынин.

— Ничего, мы научим, будет прямо смотреть.

— А тот какой-то потешный, только много болтает, — проговорил Доброхотов. — Видать, прошел огни и воды...

— Откуда пройти ему — молодняк, — возразил Леня. — В тюрьме наблатыкался. Посмотрим, кто из них бойчее в поисках за «языком» окажется.

Леготин шел обратно, держа перед собой автомат, разглядывая, крутил его. Не доходя до нас, он запнулся и упал. Мы захохотали.

— Что под ноги-то не смотришь? — спросил Крамынин.

— Когда там смотреть, впервые держу в руках эту «машинку», — поднимаясь, ответил Борис. — Как пулять из него? Эта посудина как зовется? — щелкая пальцем по диску, спросил он. — Вы научите меня, как работать им?

— Почищу оружие, покажу, как стрелять и разбирать автомат, — ответил Крамынин.

— Зашиб коленку, — сморщился Леготин. — Ложку я свистнул с кухни у повара. Без нее солдат, не солдат.

— Это, паря, уже неладно делаешь, — сказал Доброхотов.

— Я ж не у солдата стянул, а у повара. Ничего, он черпаком пожрет.

Пришел Коваленко с винтовкой. Не проронив ни слова, сел на то же место.

Леготин пристально обвел его взглядом.

— Хреновый мой напарник, — понизив голос, проговорил он. Потом запихивая пальцы в рот, сильно свистнул.

Коваленко от неожиданности вздрогнул.

— О, ты, оказывается, трус! — сказал Борис.

— А ты нет? — пробурчал Коваленко.

— Потом увидишь... Чего молчишь, как уду съел? Иди поближе, сейчас стрелять пойдем.

Крамынин показал Леготину, как разбирать и собирать автомат, и мы всем отделением пошли в развилину балки, что была левее нашего расположения. Нас догнал Каймонов.

— Ребята, командир взвода сказал так: «Доброхотов сильный, дашь в напарники ему щуплого парня. Который поздоровей — с Черемных». Мы, Леня, с тобой.

Коваленко нес винтовку на плече, как жердь, шел следом за нами. Своим поведением он нервировал нас.

— Ты, паря, пошто такой недружный? — приотстав от нас, спросил его Доброхотов. — У нас отделение, как одна семья, да и в роте все дружны. Будешь таким, я не возьму тебя в напарники.

— Я и не нуждаюсь, — ответил тот.

— Ну и пошел к черту, бык, — вспылил Гриша. — Пронька, не буду я с ним!

— Ты не кипятись, Гриша, — сказал Крамынин. — Парень еще не осмотрелся.

— Ну и бери его к себе, — предложил Доброхотов Крамынину.

— В чем же дело, возьму, если скажут...

— Я не вещь, чтобы меня брать, — сказал Коваленко.

Крамынин посмотрел на него, пожал плечами.

— Кто из вас Черемных? — обратился к Каймонову Леготин.

Я отозвался.

— Как тебя звать, кирюха? — Борис обхватил меня за шею.

— Кешкой.

— Чудное имя.

— Нас во взводе четыре Кешки: Московских, Бурнин, Хлыстов и я.

Подойдя в тупик к крутому песчаному обрыву, Каймонов начертил «полусогнувшегося человека», затем отмерил пятьдесят шагов, сказал:

— Леготин, бей лежа по цели одиночным выстрелом.

— Ты шибко маленького нарисовал, где тут всадишь по нему, — сказал Борис. — Сейчас ворот расстегну, ремень сброшу, чтоб ничего не мешало.

Он вдобавок и рукава засучил. Принял стойку, словно боксоваться на ринг вышел. Мы наблюдали за ним. Борис зажмурил глаза, оттопырил губы.

— На спусковой крючок нажимай плавно, — подсказывал Крамынин.

— Чтоб осечки не было, я с маху дерну его, — и он, зажмуря оба глаза, застрочил. Потом побежал к цели, упал, водя автоматом, бил длинной очередью.

— Одиночным тебе приказано! Чего дуришь? — заругался Каймонов.

— Сейчас, бугор, посмотрю, как попал, и одиночным трахну.

Подойдя к обрыву, он долго разглядывал цель, крикнул:

— Влупил! В шею, другую в зад! В шею не каждый попадет, она тонкая.

Леготин, широко улыбаясь, подошел к нам.

— Ты что глаза-то закрываешь? Кто так стреляет? — спросил Доброхотов.

— О, кирюха, ты меня не понял. Я специально закрыл. Ночью хоть двумя смотри, все равно не увидишь. Тренируюсь, как впотьмах стрелять.

Коваленко отмерил еще двадцать шагов назад. Хорошо поразил цель из винтовки.

После стрельб, поужинав, мы забрались в ровик, улеглись спать. Утро наступило, как обычно. Проснулся я от гула мотора. «Фокке-вульф» обходил фронт. Солнце выкатилось на востоке раскаленным шаром и озарило западный склон балки, где тянулись окопные щели.

Леготин, щурясь и потягиваясь, разглядывал самолет, урчавший над нами. Увидев меня, он заговорил:

— Эта сука, как надзиратель, высматривает, не дала поспать.

— Каждое утро чуть свет она тут как тут, — отозвался из другого ровика Каймонов. — Сегодня в разведку нам идти. Выйти бы пораньше, понаблюдать...

Через несколько минут поднялись все в отделении, собрались в кружок у щели Каймонова. Коваленко на этот раз тоже присоединился к нам.

— У нас в роте так принято: один за всех, все за одного, — стал объяснять командир отделения. — Мы все разбиты попарно. Вот если Гришка с Коваленко пойдут на захват «языка», и вдруг кого-нибудь из

них ранят в немецкой траншее, другой обязан вытащить его во что бы то ни стало. Если бросит кто-нибудь товарища в беде — держись. Морду начистим и под винтовкой заставим ползти за ним, откажешься, не дай бог, что можем сделать. У нас такого еще не бывало. Ни одного убитого не бросили. Всех выносили и хоронили.

— Если угрожает смерть второму, значит, все равно волоки убитого? — спросил Коваленко.

— Смерть всегда над нами, — ответил Каймонов. — Кому охота, чтоб она клевала тебя мертвого. Вишь, нажралась и орет, подалась куда-то.

Коваленко поднял голову, посмотрел на крутившуюся над балкой ворону.

— Значит, так: погибай, но выноси покойника? — как бы уточнил Коваленко.

— А ты как думал? Потом не всегда можно сразу понять, убит или тяжело ранен... В общем выносить...

— Кешка, ты на меня надейся, я, брат, не такой, чтоб бросить, — похлопывая меня, сказал Леготин. — Я только люблю поболтать, посмеяться, а в таком деле...

— Иного и не должно быть, — перебил его Крамынин. — Не надеешься на товарища, не иди с ним в разведку. Если штаны слабоваты у тебя, уходи из роты. У нас Никифоров один раз сдрейфил, от него отказались все. Отправили его в пехоту и еще два парня с ним. Смерть, конечно, страшная штука, а воевать надо. Сталинград отстаивать.

— Родину спасать — какая высокопарность, — с ехидцей проговорил Коваленко.

— Мы, паря, такие слова не понимаем, — сказал Доброхотов.

Коваленко поднялся и пошел к своему ровику.

— Он учителем был, по-немецки разговаривать ребят учил в школе, — сказал Леготин. — Дорогой мне рассказывал. С Чернигова он.

Новичкам требовалось время, чтобы они приобрели опыт. Старым разведчикам приходилось участвовать в каждом поиске. Группе солдат, по преимуществу землякам моим, чертовски везло. Мы долгое время не выбывали из строя, не поддавались хвори. Нежеланная, тысячи раз проклятая, но нужная в ту пору фронтовая жизнь не расслабляла нашу волю, не размагничивала нас, а поднимала из глубины наших душ небывалую силу, бодрость и веру.

Поглядеть бы на нас, солдат, в ту пору. Обмундирование наше было поношено, застирано и по-мужски неумело зачинено. Помню, как рота была выстроена для приема пополнения. Начальник разведки, капитан Баранов, стал обходить строй. Мы уважали и любили его за умение понимать и ценить солдата. Для каждого находил он простое заветное слово, и мы, глядя на него, испытывали чувство гордости, — мол, какой у нас командир! Он был выше среднего роста, сутуловат. Редкие русые волосы. Смуглое, продолговатое лицо было то строгое, то смеющееся.

Поравнявшись со мной, он неожиданно остановился. Обращаясь к командиру роты Королеву и указывая на меня, спросил:

— Это что за разведчик?

Он знал нас всех, старых разведчиков, по именам. Тем унизительней и обидней был его вопрос.

— На кого он похож? — продолжал капитан. — Гимнастерка и брюки рваные. Заштопать не может, обленился, что ли? Надо почаще его в разведку посылать, быстрее лень пройдет...

Я чувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.

— Он каждую ночь в поисках, — ответил Королев... — Что гимнастерка и брюки? У него колени и локти все в болячках и ссадинах.

Так выглядели почти все старые разведчики.

Капитан Баранов пристально посмотрел на меня, на мои рваные брюки, потом на колени с засохшей кровью. Взгляд его потеплел. Жалость его сильно растрогала меня. Я склонил голову.

— Бывает, — сказал он. — Бывает такое и с хорошим солдатом-разведчиком, бывает ошибка и у командира. Все бывает... Но ничего, было бы мясо, кожа нарастет, — начальник разведки молча прошел вдоль строя, затем остановился.

— По данным разведки нашей авиации, немцы что-то готовят против нашей дивизии. Летчиками замечено передвижение войск в район МТФ. Нужен «язык», будь он трижды проклят! Даю вам сутки—двое, наблюдайте день, ночь, изучите передовую противника. Идите хоть отделением, взводом, ротой, задание нужно выполнить, — говоря, Баранов повернулся лицом к Ковалеву.

Тот посмотрел на него, потом сделал шаг к строю, сказал:

— Понятно, товарищи бойцы? Идет взвод лейтенанта Непомнящих. Готовьтесь... Разойдись!..

По низу балки, названия ее не помню, тянулась дорога в район распоряжения 548-го пехотного полка. Мы подошли по ней к району МТФ. Передовая казалась безлюдной. Стоял жаркий день, и воцарилось непонятное затишье. Обычные дни под Сталинградом напоминали огромный таежный пожар, когда мощные потоки огня охватывают большие лесные массивы, устремляясь вширь и ввысь, накаляя небо и землю. Этот день казался странным. Пулеметно-артиллерийская перестрелка была незначительной, даже снайперы не стреляли, они словно черви залезли в землю.

Наблюдательный пункт выбрали мы на возвышенности, где стоял горелый танк, траншеи противника обозначились жирной чертой на возвышенности, местами терялись среди изрытой земли в воронках.

Глядя в бинокль, мы заметили впереди немецкой обороны ровик, замаскированный травой, которая пожелтела, он выделялся на черном поле. В нем что-то вспыхивало и сверкало в лучах яркого солнца.

— Каска на голове фрица или бинокль блестит, — сказал мне Леготин.

— Ну-ка, дай я взгляну, — попросил Каймонов бинокль. — Да, что-

то есть, наверное, немецкие разведчики за нами наблюдают. Светит, шевелится там.

Непомнящих взял бинокль, затем передал сержанту Сидорову.

— Цель обнаружена, — сказал лейтенант. — Теперь высматривайте подход, чтобы ловчее подобраться... Помкомвзвода, кто пойдет в захватывающей группе? Им особенно нужно все глазами обшарить, да так, чтоб то, что он видел днем, ночью животом чувствовал.

— Я думаю, надо две пары. Надежнее, в случае чего, — предложил Сидоров.

— Давай, — согласился Непомнящих.

Сержант посмотрел то на одного, то на другого, сказал:

— Я на пару с Доброхотовым в первой паре. Коваленко пойдет в группе обеспечения. Вторая пара... Сейчас подберу...

Сидоров снова стал оглядывать нас. Я отвернулся от его взгляда.

— Что мордой крутишь, — спросил он меня. — С Борисом пойдешь. Из новичков начнем с него. В следующие поиски пойдет другой, а то «старики» стали сердиться.

Жаркий день сменился вечером, наступила ночь. Потянул слабый ветерок, ласково обдувая наши потные лица. Мы четверо поползли к небольшой щели, находившейся впереди нас, днем подобраться к ней было невозможно. Оттуда мы неотрывно смотрели в сторону немцев. То в одной стороне, то в другой появлялись вспышки, затем раздались звуки рокочущих пулеметов и свист пуль. Совсем недалеко от намеченной нами цели справа из траншеи вылетела ракета, она озарила своими красными отблесками ровик с дерновой бровкой. Хотя мы и находились от него совсем близко, но человека не видели.

— Неужто фриц ушел? — сказал Сидоров.

— Может, ужинать, — отозвался Леготин. — Вот бы ровик занять и подождать его там, пока он нажрется.

— Тебе кажется, все так просто.

И только проговорил Доброхотов, как из ровика брызгами полетели искры, извилистой нитью, как молния, пронеслись над нашими головами трассирующие пули.

Подполз к нам Непомнящих, спросил:

— Ну как?

— Там сидит, — ответил Сидоров. — В лоб подойти к нему трудно...

— Справа от него ракетчик, я думаю слева зайти.

— Действуй! — согласился Непомнящих.

— Хлопцы, трогаем, — сказал помкомвзвода и вылез из ровика.

Мы ползли рядом с Леготиным позади первой пары на вытянутую руку от их ног.

Сделав заход слева, мы быстро приближались к ровику пулеметчика, который бил в сторону поддерживающей группы.

Поднялась ракета, нас осветило, мы припали к земле щеками лицо к лицу. Смотрю на Леготина, у него блестят зубы, он смеется.

— Чего скалишься? — ворчу на него.

— Потешно, как воровать лезем, — шепчет Борис. — Мне это нравится.

Ползем дальше. Расстояние до щели на небольшой бросок. Отчетливо видится голова немецкого постового. Оборачивается к нам Сидоров, делает условный взмах рукой. Доброхотов вскочил на какое-то мгновение раньше, чем мы трое, бросился на пулеметчика, но не сумел оглушить его. Немец вскрикнул, выскочил из ровика, тут его ударил пистолетом подоспевший Сидоров. Совсем ненужный удар прикладом автомата по голове нанес Борис. Схватив, мы торопливо понесли его по нейтральной... Когда спустили пленного в траншею, то обнаружили, что ударом приклада Леготин расколол ему череп.

Долго мы возились с немцем, пытаясь вернуть ему жизнь. Борис тер ему уши, как принято делать, когда хотят привести в чувство пьяного, но безуспешно. Он был мертв. Толпясь в траншее, мы переживали за немца, он «языком» нужен был. Потом долго спорили между собою, ругались. Винили Доброхотова, что самолично напал на немца, не сумев захватить и удержать его, затем напустились на Леготина, ругая его за чрезмерно сильный удар.

— Кто просил тебя ударять его? Я без тебя оглушил, — ругался Сидоров.

— Я думал, что мы все по разу должны стукнуть. С чего бы это, и сам не пойму, — оправдывался тот. — Рука у меня легкая, видно, черепок у него слабенький, вот в чем дело. Да, шибко я примочил ему, даже кляп не понадобился, без него не тявкнул.

— Посадить бы тебя на одни сухари, чтоб на руку полегчал, — не унимался сержант.

— В следующий раз обмоткой приклад оберну, — ехидничал Леготин. — А сколько бы дали орденов за него? Мне-то не надо, разве только котелок каши. Вы же с западного фронта за «языком» лазите.

— Вот из-за таких дураков и медаль никогда не получишь, — разозлился Сидоров. — Ну кто тебя просил стукнуть так?.. Кто?

— Ну простите, я же первый раз в захватывающей, — глядя на труп, сказал Борис.

Сколько бы еще отчитывал его помкомвзвода, неизвестно, но Борис, обозлясь, «уколол» нас с Сидоровым.

— Не хотел я, чтоб немец набил морду, как вам. Вот и стукнул...

— Кончай язвить! — крикнул лейтенант Непомнящих. Затем он вынул у немца из кармана мундира документы, сказал:

— Пошли!

Дорогой Леготин спросил меня:

— Ты тоже злишься, что так получилось?

Я не ответил.

— Расскажи, как вы с немцем дрались? — пытался завести разговор Борис. Но я отмалчивался. И он, приотстав от меня, шел позади, что-то еще бормотал.

— Ишь ты, храбрец, припомнил? — ругал я про себя Леготина. —

«Не хотел я, чтоб морду мне набил немец, как вам». Посмотрим, может, ты еще не то получишь, только ходить в разведку начал. Черт возьми, неудача за неудачей. Тот случай, за который глаза колют, хуже сегодняшнего.

Тогда мы втроем действовали в захватывающей группе, Сидоров, я и читинец Дампилов. Этот низкорослый солдат был старше нас, подвижный. Его черные волосы и брови, как смола, порыжели от солнца, лицо еще сильнее почернело от загара. Он выглядел рыже-черно-белым, а звали его в роте «серо-буро-малиновый гуран».

Сначала, как обычно, мы вели наблюдение за противником, изучая его передний край, обстановку, в которой мы должны действовать, затем поползли вперед. На этот раз мы довольно быстро подобрались к немецкому часовому. Блеснул свет в ровике, гитлеровец закашлялся. По сигналу Сидорова рванулись в траншею. Немецкий часовой успел крикнуть. Навалившись на него, мы с трудом обезоружили его. Он оказался широк в плечах и высок ростом. Окоп был длинный, но для четверых борющихся мал. Мы мешали друг другу. Били немца пистолетом и никак не могли его свалить. Он орал на всю передовую. Засунуть кляп ему в рот у нас не хватило сил. Выскочив на бровку ровика, я схватил немца за воротник и рукояткой пистолета ударил его по зубам. Гитлеровец стал оседать. С помощью товарищей я потянул его наверх, затрещала гимнастерка, и его воротник остался в моих руках, а сам он сел на дно щели. Мы никак не могли вытянуть немца из траншеи. Двоим поднять здоровяка было не под силу, а третьему не подобраться. Пристрелить его было проще, но нам был нужен «язык».

Вдруг он пнул Сидорова, и тут же полетел Дампилов. Я успел схватить противника за шею, но не мог согнуть и повис на нем. Немец, как бугай, мотнул шеей, как хоботом, и я упал, а он выпрыгнул из окопа и с криком кинулся прочь. Так выпустили мы из рук добычу. Едва успели мы унести ноги, как загремела передовая противника.

Нам совестно было возвращаться в роту. Но над нами солдаты не смеялись, когда мы им рассказывали о нашей ночной неудаче. Немец, помимо большой физической силы, владел приемами борьбы. А мы, к сожалению, никаким приемам не были обучены.

Командование и так косилось на нас за неудачи, а тут случилось еще одно событие.

Рядовой Коваленко так и чуждался нас. Всегда он был недоволен чем-то, веселье окружающих его раздражало, и к солдатской службе он относился равнодушно. Его ровик находился рядом с моим. Много раз мы примечали, что он не ухаживает за оружием, не чистит его, не смазывает. Однажды я по-товарищески сделал ему замечание.

— Ты почему не чистишь ружье? От него зависит жизнь твоя.

— У меня руки ни на что не поднимаются и глаза не смотрят, — сказал Коваленко.

— Это заметно. Глазами ты дальше кухни ничего не видишь, а руками только можешь котелок с супом держать. Во всем остальном, что

бы ты ни делал, они у тебя трясутся, как у моего дядьки после похмелья, — съязвил Леня Крамынин.

Но как только Крамынин ушел, он вскочил, подошел ко мне вплотную и зло зашипел:

— Иди и доложи про меня, ну! Может, наградят! Да не забудь захватить с собой дружка-комсомольца Крамынина, а то ведь не поверят.

Когда я рассказал об этом Лене, тот махнул рукой, помянул его недобрым словом:

— Предчувствие смерти у него, вот и не хочет ничего делать.

Утром Коваленко заговорил со мной любезно и шутливо, будто накануне ничего не произошло.

Спустя несколько дней обнаружилось, что Коваленко из разведки не вернулся. Поиски велись ночью, но хватились его в послеобеденное время следующего дня.

Повар Васильев подошел к Сидорову и спросил:

— Кто из разведчиков не завтракал и не обедал? Мяса у меня две порции осталось.

— Я не стребовал с тебя мясо, — выглянул из ровика Борис.

— Хватит дурака валять!

Понадобилось полминуты времени, чтобы установить, что недоставало Коваленко. Выяснилось следующее. Коваленко шел вместе с Доброхотовым. На обратном пути во время короткой передышки они курили. Коваленко стал перематывать портянку и сказал, чтобы спутник его шел дальше, а он его нагонит.

Что могло случиться с Коваленко? Большинство из нас полагали, что его убило. Каймонов высказал свое мнение на этот счет:

— Давно приметил я, что смерть по пятам за ним ходит...

— А ну, взвод, на передовую, разыскать! — крикнул Сидоров.

Облазили всю передовую, перевернули многие трупы, но следов пропавшего не обнаружили. Доложили начальнику разведки капитану Баранову.

— Живым или мертвым, но найти, — приказал он.

Снова мы на передовую, опять поиски возобновили. Спрашивали пехотинцев, не видели ли они солдата в маскхалате, такого низенького. «С винтовкой, штык на ней. На ремне кинжал, гранаты».

— Нет, — отвечали они.

Идем вдоль линии фронта, встречаем солдата-трофейника, собиравшего винтовки на передовой.

— Слушай, паря, ты не видел разведчика? — спросил Доброхотов.

— Хоть убей, найти не можем.

— Ах, гад! Убежал! Так я и подумал, — сбрасывая с себя несколько винтовок, выругался белобрысый молодой солдат. — Вы понимаете, вижу вон у того обгорелого танка, солдат пригнулся, озирается назад и хлестко идет в сторону немцев, кричу: «Ты куда?» Он вздрогнул. Остановился, говорит: НП выбирать отправили на нейтральную. Сейчас разведчики подойдут наши, скажи им, я вон там их жду».

— Поверил я. Потом, когда отошел, думка в голову стукнула. Не то что-то! За винтовку! Он как в землю провалился. Тут опять подумал я, что он где-то в ровик заскочил. Ах ты, предатель, обманул?!

В нашей роте еще такого не случалось. Это было ЧП.

Исчезновением Коваленко занялись в штабе дивизии. Стали выяснять его личность, расспрашивать, что знаем о нем, не примечали ли чего? Вызвали и меня с Леготиным.

— Скользкий он человек, Коваленко, — сказал Борис.

— Конкретно что-нибудь можете сказать о нем?—добивался штабист.

— А как же? Могу. Разговаривает с человеком и в глаза не глядит, а все в сторону норовит. Так себе человек. Богом убит, хреном придавлен...

— Что, что?

— Хреном, говорю, придавлен, — повторил Борис.

— Объяснил... Слово «конкретно» понимаешь? — строго спросил Дубовихин.

— Очень даже понимаю. Он немецкий язык знал.

— Скажи, листовки немецкие он читал?..

— Конкретно не видел. Кто его знает, может, читал.

— Нужно быть бдительным, тоже мне разведчики-разини, — злился лейтенант.

То, что Коваленко оказался предателем, подтвердилось на второй день. Самолеты противника бомбили штаб дивизии и расположение нашей роты, а немецкая батарея обстреляла нас. Ясно, что кто-то их нацелил.

В условиях фронтовой обстановки разведчик больше других осведомлен о расположении войсковых частей. Что касается Коваленко, то он был грамотный и вполне мог описать и нанести на карту координаты расположения наших позиций.

После бомбежки, вечером, роту выстроили в балке.

Стоя в строю, мы смотрели на запоздавшего Леготина, как тот неторопливо встал в первую шеренгу. Недовольный взгляд командира роты Королева и присутствие командира дивизии Макарова не смущали Бориса. Любой из нас, будучи на его месте, был бы смущен, но Леготин в силу характера своего улыбался, водил глазами по сторонам, бросал неробкий взгляд на подошедшего к нему генерала. Не дожидаясь, пока он что-то скажет, Борис молодцевато козырнул и отчеканил:

— Рядовой Леготин задержался на кухне.

Грубоватый голос его прозвучал неожиданно. Генерал взглянул на Бориса, на его широкую ладонь, приложенную к виску, спросил:

— Что же это? По росту должен быть головным в строю, а стоишь в хвосте.

— Не в хвосте, а на левом фланге, товарищ генерал!

Леготин как бы не ответил на вопрос, а поправил командира дивизии. Командир роты обеспокоенно посмотрел на него. Но ничего не случилось. Генерал Макаров вроде бы и не слышал грубоватого ответа.

— Вид и характер твой говорят о смелости и недисциплинированности, — помолчав, генерал добавил: — Дисциплина у тебя, товарищ боец, отсутствует.

— Есть немного, товарищ генерал,— не смущаясь, ответил Леготин.

Затем генерал рассказал нам об обстановке под Сталинградом и на нашем участке. И как генерал-майор не сдерживал себя, но все же с явной досадой говорил о потерях в нашей разведроте, о неспособности в течение длительного времени захватить «языка».

— Вы понимаете, товарищи бойцы, вот эти три последних случая просто взбесили нас с подполковником Шишлянниковым. Что это такое? Подползли незамеченными к траншеям противника, ворвались, схватили, не могли совладать с немцем! — зло выкрикнул Макаров.

Стоявший рядом с командиром дивизии помощник его по политчасти Шишлянников нервно потер ладони, отвернулся от строя, сделал шаг назад, снова встал на прежнее место. Он был такой же невысокий, как Макаров, но у́же в плечах. Волосы у него выбились из-под пропотевшей пилотки.

— Как же так могло случиться? — сняв фуражку, вытирая пот на бритой голове, продолжал генерал. — Один троих...

— Он большой, — пробормотал Дампилов.

— Что?! — не договорив фразу, спросил Макаров.

Дампилов, словно по команде, принял стойку «смирно».

— Кто сказал?!

Все замолчали. Генерал, всматриваясь в лица, остановился перед Дампиловым.

— Повторите, товарищ боец!

— Я говорю, немец толстый да большой был, — Дампилов поднял руку, показывая рост немца.

— Значит, ты являешься одним из троих?.. По глазу вижу, — Макаров улыбнулся. — Надо было по голове его, как некоторые бьют.

У Дампилова под глазом еще не сошел синяк, и он, стыдясь, переступая с ноги на ногу, проговорил:

— Я не мог достать до головы.

— Не мог. Что, у мачехи рос? — генерал отошел от него, спросил: — Кто тут силу измерил свою на голове немца? Что за Геркулес? Хочу взглянуть. Из строя два шага вперед марш! — отрывисто скомандовал Макаров.

Леготин одернул гимнастерку, вышел, неуклюже развернулся лицом к строю, заулыбался.

— Фу ты, дурак, и тут скалит зубы, — зло прошептал Крамынин.

— Ах вот кто виноват? — с удивлением проговорил командир дивизии.—Ты что так бьешь человека, как бьют быка на бойне? Ай-яй-яй! Какой же ты недисциплинированный! Да разве так можно? От удара череп пополам.

— Я по каске хлобыстнул его, товарищ генерал. Голова сама собой «лопнула», — с усмешкой ответил Леготин.

Макаров что-то еще хотел сказать, но к нему обратился его адъютант.

— Товарищ генерал-майор, вас к рации.

— Встаньте в строй, — сказал командир дивизии Леготину.

Потом перебросился словом с Шишлянниковым, ушел.

На балку навалилась вечерняя дымка, и лицо подполковника плохо было видно.

— Товарищи, я немного дополню к сказанному генералом, — начал свою речь подполковник. — Я хочу сказать об этих двух злополучных случаях, — продолжал Шишлянников. В штабе у нас я слышал один разговор, довольно неприятный для трех потерпевших солдат в схватке с немцем. Там говорят: «Позорище и ничего больше!». Я не согласен с ними: получить затрещину по шее в драке от противника, который оказался сильнее вас, нет позора. В любой мужицкой драке кто-то выходит победителем, кого-то уводят или уносят больным. Я знавал двух братьев, которые приходили на другой конец своей деревни и лупили мужиков, хоть их участвовало в драке до десяти и больше человек. Значит, те двое были сильнее их, проворнее. Так же и тут, немец попался огромной силы, отбился и убежал. Война, ничего не поделаешь. Быть может, еще не раз придется кому-то из вас в схватке с врагом быть битым, и вы будете бить. Вот результат удара вашего разведчика. Каска не спасла немца от смерти. Это не позор, хоть за это больше всего переживает ваша рота, — нет.

После этих слов подполковника на душе полегчало, и я, высунувшись из строя, взглянул в сторону, где стоял Сидоров, а он на меня посмотрел, и мы обменялись улыбками.

— Позор нам всем, мы как котята слепые не видели у себя предателя. Вот результат, — Шишлянников показал в сторону воронки, — сегодняшняя бомбежка, беспрерывный обстрел нашей балки. Где бдительность, товарищи бойцы?! Стыд и срам, есть из одного котелка с нечистью и не уличить. Плохо работает политотдел дивизии.

Пристыженные, мы проклинали свои неудачи, и каждое гневное слово Шишлянникова причиняло нам невыносимую боль. Он был прав, тысячу раз прав. Ничего мы ему ответить не могли, да ему и не нужен был наш ответ. «Язык» нужен! Бдительность! Речь подполковника была прервана взрывом снаряда в балке. Строй распустили.

Простые солдаты, мы знали, какое огромное значение имела для нашей Родины битва под Сталинградом. Мы понимали и ощущали всю грандиозность этого небывалого сражения, но ближе и доступнее нашему пониманию были конкретные задачи, которые ставились перед ротой, взводом, где мы служили. Кругозор наш был в какой-то мере ограничен, но это не мешало каждому из нас быть исполнительным, выносливым, сознательным и преданным Отечеству воином.

Собравшись в блиндаже Сидорова, мы едва уселись в нем вшестером, обсуждали выступление генерала и подполковника. Досадно было нам, что мы не были обучены приемам самбо и боксу.

Макаров что-то еще хотел сказать, но к нему обратился его адъютант.

— Товарищ генерал-майор, вас к рации.

— Встаньте в строй, — сказал командир дивизии Леготину.

Потом перебросился словом с Шишлянниковым, ушел.

На балку навалилась вечерняя дымка, и лицо подполковника плохо было видно.

— Товарищи, я немного дополню к сказанному генералом, — начал свою речь подполковник. — Я хочу сказать об этих двух злополучных случаях, — продолжал Шишлянников. В штабе у нас я слышал один разговор, довольно неприятный для трех потерпевших солдат в схватке с немцем. Там говорят: «Позорище и ничего больше!». Я не согласен с ними: получить затрещину по шее в драке от противника, который оказался сильнее вас, нет позора. В любой мужицкой драке кто-то выходит победителем, кого-то уводят или уносят больным. Я знавал двух братьев, которые приходили на другой конец своей деревни и лупили мужиков, хоть их участвовало в драке до десяти и больше человек. Значит, те двое были сильнее их, проворнее. Так же и тут, немец попался огромной силы, отбился и убежал. Война, ничего не поделаешь. Быть может, еще не раз придется кому-то из вас в схватке с врагом быть битым, и вы будете бить. Вот результат удара вашего разведчика. Каска не спасла немца от смерти. Это не позор, хоть за это больше всего переживает ваша рота, — нет.

После этих слов подполковника на душе полегчало, и я, высунувшись из строя, взглянул в сторону, где стоял Сидоров, а он на меня посмотрел, и мы обменялись улыбками.

— Позор нам всем, мы как котята слепые не видели у себя предателя. Вот результат, — Шишлянников показал в сторону воронки, — сегодняшняя бомбежка, беспрерывный обстрел нашей балки. Где бдительность, товарищи бойцы?! Стыд и срам, есть из одного котелка с нечистью и не уличить. Плохо работает политотдел дивизии.

Пристыженные, мы проклинали свои неудачи, и каждое гневное слово Шишлянникова причиняло нам невыносимую боль. Он был прав, тысячу раз прав. Ничего мы ему ответить не могли, да ему и не нужен был наш ответ. «Язык» нужен! Бдительность! Речь подполковника была прервана взрывом снаряда в балке. Строй распустили.

Простые солдаты, мы знали, какое огромное значение имела для нашей Родины битва под Сталинградом. Мы понимали и ощущали всю грандиозность этого небывалого сражения, но ближе и доступнее нашему пониманию были конкретные задачи, которые ставились перед ротой, взводом, где мы служили. Кругозор наш был в какой-то мере ограничен, но это не мешало каждому из нас быть исполнительным, выносливым, сознательным и преданным Отечеству воином.

Собравшись в блиндаже Сидорова, мы едва уселись в нем вшестером, обсуждали выступление генерала и подполковника. Досадно было нам, что мы не были обучены приемам самбо и боксу.

При взятии «языка» не всегда нужно применять оружие, как делали это мы. Порой нам приходилось молотить по голове немца пистолетом, чтоб тот не орал на всю передовую. Боксер же ударом кулака мог бы заставить его замолчать.

Досаднее всего было нам за Коваленко.

— Как я хотел высказать командиру роты об этой гниде, — сказал Крамынин. — Ведь дураку было понятно, что он не наш человек. Нет, Леготина послушал. Помнишь, Борис, как ты сказал мне? «Ты, Ленька, на солдата не шепчи начальству, а то заподозрят они его понапрасну. Коваленко, может, просто нелюдимый человек и все».

— Не надо было слушать меня, — сказал Леготин. — Ты комсомолец и кумекай лучше.

— При чем тут комсомолец, — вмешался Каймонов. — Ты любого сгорошишь.

— У отделения должно быть одно мнение, разнобоя не должно быть, — сказал Сидоров.

— Почему я не подождал тогда Коваленко, когда переобуется он,— негодовал Доброхотов.

— Вот за это тебе надо вломить. Твой напарник, тебе и отвечать. Почему бросил его? — голосом обвинителя говорил Крамынин.

— Я же не на передовой оставил. Да не нравился он мне, вот и ушел от него.

— Расспрашивает меня штабист о предателе Коваленко, а сам смотрит на меня, как на волка, с недоверием таким, — продолжал Леня. — Глупо. Мы комсомольцы.

— Стоп, стоп, Леня, как ты сказал? — уцепился Борис. — Значит, по-твоему так: комсомольцы не могут быть предателями, а не комсомольцы?.. Значит, я как Коваленко могу сделать? Ты, керюха, на поворотах не скользи! Ишь какой!

— На тебя никто не говорит, и многих не касается, — оправдывался Крамынин.

— Может быть, мой отец, дед тоже за Советскую власть дрались? Я не знаю. Или прадед в партизанах был.

— Ну, пошел собирать, — сказал Каймонов. — Прабабушка у него тоже партизанила за колхозы.

— Ну, в душу твою!.. — осердился Леготин. — Завтра же уйду в другой взвод. Вы шибко комсомольцы. Мне нечего с вами делать.

— Извини, Борька, я не так хотел. В горячке так получилось, — успокаивал Крамынин.

— То-то. Я уж подумал, что отшить меня из взвода хотите,— Леготин замолчал.

— Вот давайте посудим еще предателя, — обратился к нам Крамынин. — Может, у Коваленко отец был кулак? Советская власть его обидела? А его сын сердится на власть, потому и ушел к немцам.

— Да ну его, Ленька! — сказал Каймонов. — Это не человек, а отрыжка коровья.

— Хуже. Вша он из чумной рубахи, — и Леготин выглянул на улицу, спросил: — Ребята, кто из вас болел корью? Вот так же у меня сыпь была на теле, как сейчас звезды в небе.

— Все, друзья, будем умней, идите спать, ночь на дворе, — позевывая, проговорил Сидоров.

— Спать-то спать, но как захватить «языка», — негодовал Крамынин. — А что если напиться? У пьяных, может, лучше получится?

— О! Люблю тебя, Леня, — отозвался Борис. — Голова неплохо приделана. Мозгуешь. Правда так будет лучше. Ты скажи ротному. Законно термос нальет.

— Уходите! Завтра будем думать, — сказал Сидоров.

На следующее утро, сидя на бровке, мы с Борисом чинили мою гимнастерку. Он держал рукав, я зашивал через край порванный локоть.

— Дыра большая, заплату надо, — сказал Борис.

— Где взять-то ее? Не пойду же я воровать.

— А ты не воруй. Так возьми. Пойдем, я помогу... Каптенармус Федька Черных тебе земляк? Ты ему зубы заговаривай, а я того...

У кухни, расположенной рядом с каптеркой, возился повар Васильев. Борис, проходя мимо него, сунул руку в ведро, стоявшее на ящике, подняв голову, высыпал горох из пригоршни в рот.

— Ты что там делаешь? Отойди от ведра!

— Не кричи! А то подавлюсь. Я проверяю, жевал горох до выдачи каптенармус или нет.

На крик Васильева и хохот мой вышел из каптерки Черных. Борис моргнул мне.

— Что за шум, а драки нет! — выкрикнул Федор. — О чернушник! — назвал он Леготина... — Что ты жуешь?

— Керю твоего обжал на горсть гороха, вот он и орет до красноты на морде.

— Федя, хошь почитать письмо, из деревни от девчонок получил, — предложил я земляку.

— Ну-ка давай, что пишут?

Доставая письмо из кармана гимнастерки, я отошел в сторону от двери каптерки, чтоб Черемных не заметил действий Бориса. И только мы легли, как тот скрылся в проходе блиндажа. Вход в него был с противоположной стороны от кухни, и детина-повар тоже не заметил исчезновения Леготина. Я не оглядывался назад, чтобы не насторожить Федора. Он, согнувшись в комок, увлекся чтением. Васильев мыл горох в ведре, Борис работал в каптерке, я стоял на коленях перед землянкой. Все были заняты своим делом. Прошло две-три минуты, как раздался сильный свист, я оглянулся и увидел Леготина. Он стоял уже на другом склоне балки с Каймоновым.

— Кеша, дуй быстрее! Дело есть...

— Федор, читай, потом отдашь, — и я направился к ребятам. — Ну как, Борис?

— Как есть мешки. Рубах со штанами не нашел. Пошли починять...

Наверх... Тут душно, там ветерок, да и Федька не найдет, если хватится.

С нами пошел Каймонов, у него колени брюк тоже были рваные и гимнастерка была не лучше моей. Забравшись в бурьян, мы приступили к делу.

— Давай я на тебе залатаю, — предложил мне Борис. — По портняжескому делу я собаку съел.

Он тщательно зачинил на мне брюки. Потом вместе пришили латы на рукаве.

— Слушай, Кеша, может, присобачить тебе этот кусок на брюхо?— тряся в руках оставшиеся полмешка, предложил Леготин.

— Давай, гимнастерка будет как новая, — согласился я.

Расстелив на землю гимнастерку, приложили лату, которой хватало от карманов до боковых швов и до нижнего рубца.

— Я буду держать, чтобы не морщилась, а вы шейте разом в две иголки, — сказал Каймонов.

Стояли все трое на коленях. Мы с Борисом головами к Прокопию, он головой к нам. Закончив латать мое обмундирование, принялись за брюки Каймонова. Борису делать было нечего, мы справлялись с Прокопием двое, и он ушел от нас.

— Понимаешь, Кеша, — сказал Прокопий. — Последнее время мне дурь лезет в голову о смерти. Неужели все же убьют? — он положил руки на грудь, вздыхая, произнес: — Ведь мы же кровь с молоком. Не жили еще. Нам идет всего по двадцать первому...

— Ты не думай о смерти, как Борис... Он говорит: «Я никаких бомб, снарядов не боюсь. Меня не убьет на войне. Цыганка врать не будет. Она ворожила мне».

— Я, паря, не такой, как Леготин. Тот в бомбежку спит или смеется. Ну к черту эту смерть! Пойдем, я лучше на гармошке сыграю.

Прокопий хорошо играл, пел под свой аккомпанемент и плясал. Придя к своему жилью, он растянул двухрядку. Леготин выскочил из щели, стал плясать и петь частушки:

Ой, милая моя,
Крути задом, как и я.

Борис не умел плясать, а просто дурачился.

В наш круг подошли несколько солдат. Пришли повар Васильев и каптенармус Черных. Раздавались звуки гармони, смех над шутками Бориса. И тут Васильев хвать меня за живот, закричал:

— Федька, Федька! Вот твои мешки, у Черемных пришиты.

— Что орешь! — ударяя по руке повара, огрызнулся я.

— Федя! — продолжал кричать Васильев.

Но тот хохотал и не слышал голос повара.

— Отпарывай латы, старшина сразу по ним узнает, что ты мешки украл, — предложил мне Васильев, а сам ушел.

Вечером старшина основательно взялся за меня.

— Ты что мародерничаешь? — кричал он.

И здесь пришел ко мне на помощь Леготин. :

— Старшина, как тебя понять? То упрекал, что нет у нас солдатской находчивости, теперь ругаешь?..

— Не на каптерке же старшины проверять свою находчивость,—рычал Вехляев.

— За чужую каптерку могут пуль-пуль, а за свою только гыр-гыр и разошлись, — сказал Борис.

— В чем дело? — строго взглянул на меня подошедший к нам лейтенант Непомнящих.

Обворовал, — ответил старшина.

— Ого! Закрыл дыры, — проговорил Непомнящих. — Собирайся в разведку. Вам бы, товарищ старшина, не отчитывать бойцов, а позаботиться об их штанах.

Наш взвод через несколько минут был готов к выходу в разведку. На этот раз мы не стояли в строю, а сидели, окружив командира Непомнящих. Среди нас был старший сержант Кузьма Ельчининов из третьего взвода, бывший шахтер из Букачачи, Читинской области. Он отслужил действительную службу в 1939 году. В 1941 году добровольцем пришел в нашу 178-ю разведроту. Ельчининов был среднего роста, плотный собой, обладал большой физической силой. Сидя на бровке ровика, он, упершись в подбородок рукой, задумался. Смуглое лицо его, пронзительный взгляд из - под черных густых бровей, нависших на глаза, говорили о его серьезности и резком характере. Рядом с ним полулежал парторг роты Калугин, задорно смеялся над рассказом Каймонова о Леготине. Неширокие плечи его вздрагивали, он то и дело подбирал сваливающиеся на глаза рыжеватые волосы.

— Когда налетели самолеты бомбить нашу балку, мы высунули головы и считали, их было семьдесят штук, — говорил Каймонов. — Бомбы начали рваться совсем рядом с нами, аж земля зашаталась. Мы прижались в блиндаже, лежим, вот думаю, сейчас унесет на тот свет, а Леготин сидит у входа, только пригибается от взрыва, давай сумку свою потрошить. Сухарь достал, говорит: «Надо сожрать его, вдруг убьет, сухарь старшине останется». Сидит, смеется, грызет. Когда отбомбили, он опять пихает сухарь в сумку, говорит: «Запас карман не трет». Снова прилетели самолеты, бомбить начали. Он хватает котелок, шумит нам: «Кухню разбомбят! Спасать надо!». И к повару убежал. Васильева в такую бомбежку танк канатом не вытянул бы из щели, а Леготин просит его: «Вань, а Вань, налей супа, прольют гады бомбой».

— Ну и Борис. Не Борис, а скоморох роты, — звучал приятный голос Калугина среди общего хохота. — Налил повар? — смеясь, спросил он Леготина.

— Куда там... Он как мышь прижался в угол щели, по-рыбьи рот то открывает, то закрывает от бомбежки, что-то мычит, — рассказывал Борис. — Я сам налил, потом подошел доложить ему, говорю: «Вань, я мосол твой под тряпкой захватил, на нем мяса много, бомбежка сильна

—пропадает... Блиндаж-то твой худенький, бог знает, что случиться с тобой может». Он увидел кость у меня в руках, как заорет: «Подавись ты, паразит! Вон отсюда!». Пока бомбежка шла, я кость обгрыз, чтоб Васильев не отобрал.

Смеялся над Леготиным и командир взвода Непомнящих, хотя на улыбку он был скуп. Но Кузьма Ельчининов даже не улыбался. Он как бы обдумывал действия предстоящей вылазки за «языком», сидел в той же позе.

— Хватит! Слушайте задание! — прервал хохот Непомнящих. — Наша рота опутана, как паутиной, позором и огрязнена предательством Коваленко. Нужно все смыть сегодня, — говоря эти слова, лейтенант побледнел. — Иду в захватывающей группе. Желают со мной парторг Калугин, сержант Ельчининов. Заявляю вам, товарищи бойцы, я лично не вернусь в роту, если мы сегодня не захватим немца. Ибо в разведроту появляться мне стыдно. В пехоте останусь. Хватит впустую прогуливаться. Пехота истекает кровью, а мы «языка» взять не можем, — лейтенант встал. — Каймонов, пойдешь со мной в паре. Сидоров, руководишь группой обеспечения.

— Не вернусь и я. Все не вернемся, пока не выполним приказ командира дивизии, — сказал парторг.

В редкой облачной шуге солнце переплыло балку. Тенью западного склона прикрыло кухню. Наполнив фляжки чаем, термос едой на вечер, мы один за другим напились мутной воды из ведра у повара, потянулись веревочкой на передовую.

Ельчининов, твердо ступая на тропу, словно пытаясь растоптать что-то, шел в разведку. В маскхалате он выглядел еще коренастее и крепче. Непомнящих ссутулился. На Калугине зелено-пестрая куртка халата переброшена через плечо, брюки коротки ему и закрывали только полголенища сапога. Впереди всех шагал Сидоров. Я не одел маскхалат, в нем было очень душно. Да он и не нужен мне был. Мое серое обмундирование, излатанное зелеными лоскутками, и так хорошо маскировало. Каймонов тоже пестрел в цепочке идущих, звонко хохотал. Леготин что-то «заливал» ему. Доброхотов с Крамыниным несли наш термос.

Двигались мы степью по проторенной нами дорожке, то спускаясь в низину, то поднимаясь вверх.

Солнце приближалось к закату, мы подходили к огневым позициям пятой батареи 406-го артиллерийского полка нашей дивизии. В ней служил мой односельчанин Василий Власов.

Проходя мимо батареи, я всякий раз забегал к нему, коротко наводил справки о доме, пишут ли девчонки, уходя от него, говорил: «Не убьют, ночью или утром загляну к тебе». На этот раз мне особенно хотелось повидаться с Василием.

День был жарко окутан войной, и предстояло нам нелегкое дело. Потом слова лейтенанта с парторгом «не вернемся в роту, пока не захватим «языка» не выходили у меня из головы. Непомнящих зря не говорит. Надо сказать Ваське, что в разведку иду.

Орудие, наводчиком которого был Власов, словно притаилось под маскировочной сеткой. Ствол змеем вытянулся между дерновой обложкой, готов был плюнуть огненным ядом по врагу.

Разглядывая орудие, я увидел своего земляка. Он нес на спине три ящика со снарядами. Два лежали вдоль на полусогнутой спине Василия, придерживаемые его руками. Третий был сверху, за него уцепился идущий с Власовым солдат небольшого ростика.

— Кеша, здравствуй! — увидев меня, крикнул Власов. — Помоги Лоскутову снять. У меня напарник такой, что ящиком его раздавить может.

Он присел. Мы освободили его от тяжести.

— Сколько ящик весит? — спросил я.

— Семьдесят, да ишо лишка, — ответил земляк.

— Ничего себе, надсадишься?

— Кто, Власов? — удивленно спросил солдат.— Он рассказывал, как убили сохатого, так за две ходки за пять километров домой перенес. Он у нас один вертит пушку в любую сторону.

— Знаю его силенку. Вася, я в разведку пошел. Что-то день сегодня неспокойный, в случае не вернусь, напиши домой. Останусь жив, забегу к тебе. Ранит — ребята скажут, до свидания.

Власов был нервишками очень слаб. У него задергался подбородок. Выступившие слезы прокатились до губ, оставив на запыленных щеках полосы.

— Кеша, возвращайся, я жду тебя, понял? Спать не буду, пока не придешь, — всхлипывая, проговорил Власов.

Наши разведчики уже скрылись из виду, я побежал догонять их, оглядываясь увидел, как земляк мой подолом гимнастерки тер глаза.

Командир взвода решил вылазку сделать в стыке 548-го и 441-го пехотных полков.

— В этом районе, говорит пехотный командир роты, разведчики еще не действовали, как мы пришли под Сталинград, — сказал Непомнящих. — Сидоров, располагайся с группой в траншее, мы вылезем вперед, чтобы лучше видеть. Стемнеет, подойдете к нам. Наблюдайте, где мы остановимся.

Четверка двинулась вперед.

— Ни пуха, ни пера вам, ползуны, — крикнул Леготин.

— Пошел к черту, чернушник, — оглянувшись, ответил Каймонов.

— Приду в роту, каптенармусу морду начищу, — разваливаясь на дне траншеи, сказал Борис. — Он меня окрестил, теперь будут звать — чернушник.

Через несколько минут мы разлеглись вдоль траншеи, уснули. Проснувшись, я увидел искристый потолок над собой, не понял, где нахожусь. Была темная осенняя ночь, небо усыпано звездами, точно горящими угольками. Поднявшись, я подошел к Сидорову.

— Ты что, не спал? — спрашиваю его.

— Нет, будить вас было жалко, крепко уж больно вы храпели, вот

и стоял один за всех. Каймонов приползал сюда, через полчаса выходим. Тормоши ребят, пора вставать,— сказал сержант.

Но будить товарищей мне не пришлось, у самой бровки траншеи разорвалась мина.

— У, паразитка, не дала сон довидеть,— проворчал Леготин.— Плохо будет сегодня, баб во сне обнимал, они не к доброму снятся. Одна с такой кормой, что обхватить не мог, а она брыкается, вторая доходная была, сама мне руку под рубаху пихает. Раз блудит, значит, отвыкла от мужиков бабенка... Давайте пожрем.

— Котелок Прокопий с супом унес, надо у пехотинца попросить,— сказал Крамынин.

Поужинав, мы выбрались из глубокой траншеи, двинули к наблюдательной группе. Те сидели у горелой немецкой танкетки. Среди них выделялась мощная фигура Ельчининова. Остальных трудно было узнать в темноте.

— Ну, как тут?— спросил Сидоров.

— Неспокойно немцы ведут себя,— ответил лейтенант.— Задача ясна? Пошли.

Мы в поддерживающей группе развернутым фронтом ползли следом за четверкой.

Неожиданно над нами в воздухе появился самолет марки «У-2», прозванный на фронте «кукурузником». Он сбросил несколько подвесных ракет, осветивших не только траншеи противника, но и весь наш взвод. Нас было настолько хорошо видно, что можно было сосчитать. Немцы открыли по нам пулеметный огонь. Мы каждой частицей тела прижались к земле. Самолет сделал заход, гул в воздухе прекратился, летчик выключил мотор, засвистели бомбы, раздались взрывы, что-то вспыхнуло недалеко от немецкого пулеметчика. Освещенный огненными языками клуб черного дыма, взвившегося наверх, казался кровяным. Мы заметили, как Непомнящих со своей группой поползли вдоль нейтральной полосы влево. Мы долго передвигались за ними. Пожар остался далеко позади нас. Послышался какой-то непонятный треск, затем донеслись звуки радиоусилителя и голос:

— Бойцы и командиры рабоче-крестьянской Красной Армии! Кончайте бессмысленную войну! Сталинградские степи достаточно политы вашей кровью, переходите на сторону немецких войск! Здесь кормят хорошо, одевают, отправляют в тыл работать по специальности...

Лежавший рядом Леготин шепнул мне на ухо:

— Ты понял? Приглашают только бойцов и командиров, а политруки, видно, здорово насолили им.

На передовой наступила тишина. Голос немецкого агитатора звучал в эфире чисто.

Захватывающая группа в быстром темпе повернулась и поползла вкось на голос приглашающего. Наступила решительная минута. Вдруг позади нас зашумела «катюша», и тут же земля содрогнулась от взрывов термитных снарядов. Снаряды ложились там, где был передатчик, и

вблизи нас. Казалось, что их осколки еще и еще раз взрываются после падения, что взрывная сила своим пламенным дыханием хочет нас оторвать от земли и заживо сжечь.

В страхе, охватившем нас, было больше всего ярости от угрозы нелепой смерти. Мы думали, что если оборвется наша жизнь, то только от рук врага, а тут угрожала нам родная «катюша». И только снаряды прекратили рваться, как четверка наша перемахнула через пламя, скрылась в траншеях противника. Раздались страшные крики, стрельба. Мы поняли, что произошла схватка с неприятелем. Сидоров скомандовал:

— За мной! На помощь!

Вскочив в траншею, мы сразу не могли понять, кто наш, кто немец. Траншея глубокая, и, хоть глаз коли, темно. Под ногами барахтающиеся люди, раненые стонут, дерущиеся сопят. Применить оружие невозможно. В горячке можно перестрелять своих. У каждого из нас сознание работает в одном направлении — взять «языка». И тут вижу: наплывает на меня огромная глыба, следует глухой звук удара, рявканье Ельчининова.

— Кляп!

Я сорвал пилотку со своей головы, мгновенно сунул ее немцу в рот, тут же ощутил зубы его и невыносимую боль.

— Кусает! — простонал я, пытаясь вырвать мизинец изо рта гитлеровца. Кляп оказался тонкий, и он крепко прокусил...

Кузьма схватил противника за глотку, нанес ему сильный удар по физиономии огромным кулачищем, тот открыл рот. Я не успел образумиться от боли, как Ельчининов выбросил здоровенную тушу «языка» из траншеи на бровку, проговорил:

— Ищите наших!

Но в траншее еще сверкали ножи, разведчики дорезали немцев.

Разбрасывая мертвых в траншее, мы с трудом нашли парторга, он тяжело дышал, командир взвода был без памяти.

Подняв тяжело раненных товарищей наверх, Сидоров приказал:

— Леготин, Черемных! Прикрывайте отход!

Бывший шахтер схватил валявшегося на земле «языка» за руку и быстро поволок его за собой. Сидоров с Доброхотовым понесли Калугина. Крамынин с Заваленко — Непомнящих. Мы с Борисом, отбежав от немецкой передовой, залегли, строча по пулеметчику противника, который был правее места схватки, прикрывая отход с ранеными.

Прошла еще одна минута, две, мы выпустили по диску патронов. Снова ударила «катюша» по тому же месту, чуть не захватив нас, мы кинулись прочь, и тут еще проскрипела другая «катюша».

Я нырнул в окоп, попавший нам на пути, и почувствовал что-то мягкое под собой. Леготин сверху навалился и еще сильнее прижал меня к раздувшемуся человеческому трупу.

— Слазь с меня! — кричу Борису.

— Ты что, в штаны напустил? Вонища поперла, — спрашивает тот.

— Убитый подо мной!

— Как он забрался сюда мертвый? Он кто? Немец, русский?

— Пошел к черту, вылазь...

— Подожди. Пусть снаряды «катюшины» поразорвутся.

Опершись одной рукой о покойного, я ударил Бориса в лоб.

— Глаз вышибешь, не слезу, там убьет.

Мне было невмоготу дышать, и я снова ударил Леготина. Тот, освободив меня, выскочил. Термитные снаряды рвались позади. Немцы притихли на нашем участке. Ни единой струйки трассирующих пуль. Но случилось другое. Мы отклонились от первого района, где нами была предупреждена пехота. На этом же участке пехотинцы не знали о наших действиях и сочли нас за немцев, открыли пулеметно-автоматный огонь. Мы заметались, как стадо овец, не зная, что делать.

— Свои! Матушкина мать! — прогремел голос Ельчининова.

— Эй, пехота! Род ваш немытый! В кого пуляешь,—кричал Леготин.

— Стой! Прекратить огонь!—донесся голос из траншеи, и показался человек. Идя навстречу нам, он ругался: — Перебить вас мало! Почему не предупреждаете?!

— Перестань орать! Есть санинструктор? Давай быстро! — унимая, спрашивал и приказывал Ельчанинов, как солдату, подошедшему к нам лейтенанту.

— Пойдемте. Кого так тащить, как скотину? — глядя на волочившегося немца, спросил лейтенант.

— Хуже, чем скотина, — ответил Ельчанинов.

Санитарный пункт был немного позади траншей, и мы занесли раненых в блиндаж, положили того и другого на носилки, стоявшие у стен.

Медицинская сестра в белой косынке с крестиком на лбу в свете двух фонарей, стоявших на ящике, который служил столиком, тут же стала разглядывать и ощупывать раненых. Обмундирование как на Непомнящих, так же и на Калугине было изорвано и все залито кровью. Тела их изранены ножами.

После обработки ран и перевязки в сознание пришел Непомнящих. Он с трудом поводил головой, потом тихо спросил:

— «Язык» есть? Все живы?

— Есть, товарищ лейтенант, — ответил Ельчанинов.

— У тебя что со щекой? Ранен?

— Немножко зацепил фриц. Каймонова ранило в руку. Калугин очень плохо чувствовал себя. Кешке чуть палец не откусил «язык».

У Ельчининова маскхалат тоже весь обрызган кровью, руки как у мясника, брови сошлись у переносицы, нависли на глаза, белки налились кровью.

— Приведи «языка», убедиться хочу,—попросил лейтенант Кузьму.

Немец лежал у входа в блиндаж, в траншее. Старший сержант взял его под мышки, с маху поставил на ноги, втолкнул в блиндаж. Он был с разбитой физиономией, шея издавлена, и остался на ней оттиск крепких пальцев Ельчининова. Гитлеровец с ненавистью посмотрел на Калугина, затем на Непомнящих, повернулся к старшему сержанту, со-

гнул в локте руку, пожал свою мускулатуру, кивая головой на Ельчининова, пробормотал:

— Русс собака, шайзе!..

— Ого, какого зверя взяли! — воскликнул Непомнящих, пытаясь подняться на носилках. — Он и тут еще рычит.

Немец был крупный в кости, с нашивками СС на рукаве, второй рукав ему оторвал в схватке Ельчининов. Руки у эсэсовца были мускулисты и жилисты.

— Как ты совладал с этим кирюхой?—показывая на немца, спросил Леготин.

— С таким злом черта сломишь, — ответил старший сержант.

— Если бы не подоспели, конец бы нам всем был,—сказал Каймонов Сидорову. — Меня ранило в руку, как только влетели мы в траншею, и фриц не успел еще выстрелить, как кто-то из наших бух ему по голове, он в колени мне уткнулся, я добил его. Что-то из головы все вылетело, не помню, как потом полосовались. Крик, ножи блестят. А сколько их было?

— Не знаю, кажется, я троих заколол. Вот этого гада я немного не успел схватить, как он парторга или лейтенанта саданул.

— Я одного прирезал, без оружия он был, — простонал Непомнящих. — Хватался за меня, кричал по-русски. Вот кого бы взять «языком». Меня обожгло, когда мы вскочили, наверное, нас с тобой, Прокопий, одной пулей задело. Потом еще и еще кольнули меня. В глазах круги полетели, сбили меня с ног, потоптались на мне, чую, наши налетели, молодцы, задрались, потом не помню.

— В самую гущу мы вскочили, — сказал Ельчининов. — Немцы, конечно, не ожидали такого, только снаряды разорвались, и мы им на голову. Так бы, пожалуй, они перебили нас. Их большая свита была, что значит вовремя и стремительный налет.

— Все ребята отдохнули, перевязались? — спросил Сидоров.

— Да, надо трогать. Спасибо, сестричка, за помощь. До свидания, — попрощался Ельчининов.

Мы все благодарили невысокую, чернявую Лелю со шрамом на щеке, вынесли раненых из блиндажа. Вид у нее был измученный, она даже не вымолвила слова, пока мы находились в медпункте, и только кивнула головой нам на прощанье.

Дорогой в расположение мы всячески расспрашивали пленного, кто говорил в рупор, но немец не понимал нас, мотал головой и пожимал плечами. Речь в передатчике была русская. Доброхотов говорил, что будто голос этот где-то он слышал, но не может припомнить. Леготин уверял, что это никто другой, как Коваленко. Когда мы искали своих в траншее среди убитых, я перевернул одного на другой бок, он громко захрипел: хотел агитировать, но я оттолкнул его. Наверняка был Коваленко...

В свое расположение попали мы, когда занималась заря. Измученные до крайности, поставили на землю носилки и молча склонились над

Непомнящих. Командир лежал, завернутый в плащ-палатку, без пилотки, потерявшейся во время схватки с неприятелем. Прядь волос упала на его крутой высокий лоб. Черты лица заострились, он выглядел строгим, задумчивым. Наш любимый лейтенант Непомнящих умирал на наших глазах. Стиснув зубы от нестерпимой боли, командир ни разу не вскрикнул, не застонал. Он лишь попросил потуже перетянуть ему голову и положить рядом с Калугиным. Чувствуя приближение смерти, командир тихо, но внятно произнес:

— Прощайте, ребята... Когда освободится от немца Брянщина, сообщите домой о моей смерти. И еще об одном прошу, похороните нас вместе с парторгом в братской могиле, он тоже, наверное, умрет.

День с утра был пасмурный, к обеду ветер разрывал морок в облачные клочья. Солнце, выглянув в прогалину, блеснуло лучами в посемлевшее лицо лейтенанта Непомнящих. Но он не почувствовал этого, не зажмурился от лучей, как мы, у него глаза не сверкали от слез, а были безжизненно полуоткрыты. Смерть накрыла его жизнь, и солнце светило ему в последний раз. Мы опустили тело Непомнящих в могилу. Сердца наши от жалости к бывшему командиру и другу по оружию кипели, и слезы струйками обрывались с подбородков, падали на холмик.

— Прощай, наш дорогой командир, — проговорил Сидоров. — Ты своей жизнью смыл черные пятна, посаженные на взвод Коваленко.

Он, помолчав, добавил:

— Рота «родила языка» под твоим руководством. Мы выполнили задание.

Потом мы дали многократные залпы из оружия, поклонились и ушли. Калугин так и не пришел в сознание. Его отправили в санбат. Какова его дальнейшая судьба, не знаю. Каймонов тоже ушел в санбат. Ельчининов лечил свою раненую щеку у санинструктора роты...

На батарею к Василию Власову зайти мне в ту роковую ночь не удалось. Василий же ждал меня, как я потом узнал, до утра, ждал и в последующие вечера, но так и не дождавшись, написал моей матери письмо, как условились мы с ним: «Такого-то числа сын ваш Иннокентий пошел в разведку и не вернулся».

В течение трех суток нас не посылали в разведку, и мы отлеживались в роте, а письмо Власова несло печальное известие моей матери. Боясь, что дома будет кошмарный переполох, я написал:

«Мама, я живой. Не верьте Власову, если он что-нибудь обо мне напишет. Из разведки я вернулся здоровым, только зайти к нему не смог». Но письмо мое не опеределило письма односельчанина, оно пришло на день позднее. Сутки оплакивали меня всей деревней.

Батарея, в которой служил Василий, перебазировалась на другой участок, и я долго не мог найти его. Считая меня погибшим, Василий продолжал в каждом письме упоминать обо мне, как о покойнике. Тревожные письма матери заставили меня отыскать батарею, блиндаж, в котором был мой земляк. Я спустился в блиндаж и, оказавшись лицом к лицу с Василием, протянул ему руку. Он испуганно отпрянул,

не веря своим глазам, и спрятал руку за спину. Убедившись в том, что перед ним не призрак, а я, живой и здоровый, он тряс меня, обнимал, смеялся. Радости нашей не было предела...

Да, рота наша разродилась, как сказал Сидоров, на похоронах лейтенанта Непомнящих. Через несколько дней в один из взводов привели «языка», затем другой взвод захватил пленного. Разведчики стали чувствовать себя бодрее, увереннее. В свободное время мы гудели в самом расположении, как пчелы на пасеке. Но нас оставалось мало. Мы стали ворчать на тыловиков роты за то, что они не ходили с нами в разведку, называли их трутнями, а они упрекать нас, что мы их водку пьем.

Было так: командир роты Королев дал распоряжение старшине не выдавать пайковых сто граммов тем солдатам, кто не принимает участия в разведывательных действиях. Что причиталось спиртного такой категории служак, выдавали взводу, который шел в поиск.

Однажды старшина Вехляев разливал на взвод водку, каптенармус Черных, сидя рядом с ним, кричал:

— Кто дал право командиру обжимать нас?! Мы тоже в разведке служим! Водку на всех выдают! Это неприкосновенный паек солдата!

Зашумели и остальные тыловики, высказывая свое недовольство. На шум вышел из землянки Королев и, подойдя к старшине, спросил:

— Что случилось?

— Обижаются тут некоторые... Спиртишка хотят.

Командир посмотрел на притихшего каптенармуса, зло проговорил:

— Выдать всем! После ужина чтоб я видел вас в строю с ними, за «языком» пойдете!

Командир роты ушел. Вехляев, смеясь, выкрикивал:

— Громов, получай сполна!

— Я-то при чем! Я не хочу водку! — отказывался письмоносец Громов.

— Черных! Чего забрался в каптерку? Вылазь! Вот тебе спирт.

— Тюрин! Давай свою кружку! Ездовой сюда! Васильев, чего стоишь?

— Кто варить-то будет? Я горох замочил, —отговаривался повар.

— Шофер Мусатов сварит.

Все они нехотя один за другим подставляли свои кружки, а старшина наливал положенные им пайковые сто граммов.

— Накаркал, ворона, — ругался худощавый письмоносец на каптенармуса.

— Это тебя надо в разведку, ты базлал на всю роту, — ругал Черных другой.

Часа через полтора два взвода стояли в строю. На заднем фланге построились любители спиртного, крайними были Васильев с винтовкой, которая по его росту и полноте казалась слабым для него оружием. Тюрин, повседневный часовой каптерки и кухни роты, красно-

щекий, плотный собой. Но говорил, что он эпилептик, и в разведку его не посылали. Черных в маскхалате выглядел еще коренастее и меньше ростом. Громов был без маскхалата. Вид у них всех был недовольный, но ездовой Ивлев держался бодро и посмеивался.

— В поиск пойдут сегодня две группы, одна действует против расположения 441-го пехотного полка, другая против 656-го полка.

И только проговорил капитан Баранов, как раздался какой-то писк в строю, и Тюрин, упав навзничь, стал дергаться всем телом и рычать нечеловеческим голосом.

— Что это такое?! — спросил Баранов.

— Припадок его бьет, — ответил Королев.

Капитан подошел поближе к Тюрину, обошел его, посмотрел в лицо, вынул пистолет из кобуры, поманил рукой старшего лейтенанта.

Мы с удивлением смотрим на него. «Неужели прибить его хочет», — подумалось мне. Тюрин хлестался руками и ногами о землю, продолжал визжать. Всё внимание строя обращено было на левый фланг.

— Держать его надо, пришибется, — сказал Королев.

— Не надо, сейчас отмучается, я пристрелю его, — сказал Баранов и тут же выстрелил.

— Гей! — раздался голос Тюрина, и, коршуном вспорхнув с земли, он побежал вниз.

— Стой! — крикнул капитан и опять выстрелил.

— Взять «языка»! — закатываясь в хохоте, указал пальцем Королев на одного из солдат в строю.

Мы хохоча смотрели на убегающего Тюрина и догоняющего. Маскхалаты у них на спине вздулись подушками. Тюрин оглядывался. Солдат догонял его. Еще секунда, две — и притвора был пойман, но он упирался, не шел к месту происшествия.

— Вот как лечат! — сказал Баранов.

— Завтра же убрать его из роты, в пехоту откомандируйте. Там некогда будет трепаться, «эпилептик»...

— Проситесь с нашим взводом идти в разведку, — высунув голову из строя, подсказал солдатам обслуги Леготин, — у нас легче вам будет, ребята все старые.

— Ишь, как пристроились, пригрелись возле кухни да продуктов, — строго глядя на оставшуюся четверку, проговорил Королев. — Патроны не забыл? — спросил он Черных.

— Нет, — ответил тот, не взглянув на командира.

— Почему у вас нет гранат, кинжалов? Винтовки почему ржавые? Времени нет почистить?

Те молча переглядывались между собой.

— Сидоров, проверьте их сегодня в захватывающей группе, пусть покажут, на что они способны. Может, напрасно они и сегодня-то спирт выпили.

— Обязательно проверю.

Королев после основательного разноса подошел к Баранову, тот о чем-то разговаривал со старшим сержантом Ельчининовым.

— У вас, товарищ капитан, есть что-нибудь к строю? — спросил он.

— Нет. Желаю успеха.

— Ну, трогайте...

К вечеру мы пришли на место действия, расположились в густом бурьяне за межой. Сидоров лег между Васильевым и Черных, сказал:

— Что ж, приказ командира нужно выполнять. Пойдут в первой паре Громов с Ивлевым.

— Не дури, Сашка. Ты что в самом деле говоришь? — уставился округлившимися глазами на командира Черных.

— Ты что думал? Тут не место шутить, немцы рядом.

— С Черных я не пойду на пару, — отказывался Васильев. — Он впервые в разведку идет. Бывал я в захватывающей не раз, знаю. Его только ради смеха посылать. Пусть ползут с Громовым, мы с Ивлевым пойдем.

— Хорошо. Вторая пара: Кешка Московских и Мишка Заваленко.

Васильев хаживал в разведку, и с видами опасности он хорошо ознакомился на западном фронте. Поваром поставили его как честного, справедливого человека. Ивлев тоже был обстрелян. Он был немного глуховат, поэтому и стал ездовым.

Когда мы поползли по нейтральной полосе, приближаясь к траншеям врага, новички в полной мере оценили Леготина. Он полз за ними и беспощадно подгонял то Громова, то Черных.

— Эй, письмотаскатель, чего рот разинул? Ползи, не пыхти, засиделся на мешках в каптерке, двигай, двигай, не отставай, — понукал он второго. Для обоих находил он острое слово.

На этот раз вернулись мы из разведки все в добром здравии, жаркого дела не было, но и этого похода достаточно было, чтобы отбить кое у кого охоту к спиртному.

Мы покатывались со смеху над шутками Бориса, но ребята не обижались на него, они были рады, что с ними ничего не случилось.

— Кашу свою отдам, не только водку, только без меня обходитесь, — смеясь, говорил Черных.

Под Сталинградом к нам пришел новый командир роты, старший лейтенант Быков. Королев получил звание капитана, и его назначили заместителем командира стрелкового батальона.

Тяжелым было расставание: Королев воевал с нами со дня формирования роты.

Капитан Баранов представил нового командира. Возможно, он тоже был храбр и опытен, но все тепло сердец мы отдали в тот час Королеву. Мы чувствовали себя сиротами.

На следующий день Быков познакомил нас с новым командиром взвода лейтенантом Василием Рубановым, пришедшим из военного учи-

лища. Стоя в строю, мы смотрели на него и пытались определить, каков он есть. Хотелось найти в нем душевные и боевые качества бывшего командира Непомнящих, а в старшем лейтенанте Иване Быкове видеть Королева.

Два новых командира стояли перед нами, а было нас тринадцать человек. Старше всех смуглый читинец Ивлев, рядом с ним краснолицый и конопатый, кадровый солдат, Иосиф Гладких, весельчак Борис Леготин, братчане: Леня Крамынин, Гриша Доброхотов, звонкоголосый Иннокентий Бурнин, говорливый шустряк Михаил Заваленко, Иннокентий Московских, я, иркутянин Сергей Скольжиков и трое новичков.

Мы разглядывали то Быкова, то Рубанова. Новый командир роты высок, с залысинами на висках, с длинным прямым носом. У него были разные глаза: один коричневый, другой серый. Быков спокойно сказал:

— Вы идете сегодня в разведку, и товарищ лейтенант, как говорится, с места в карьер, тоже желает идти с вами, не отдохнув даже часу после большого перехода.

— Ничего, отдохнем, будет время, — сказал Рубанов.

— Разрешите принять взвод и идти, товарищ лейтенант?

— Идите.

— Взвод, слушай мою команду. Смирно! Нап-ра-во! Шагом марш на передовую!

Шли по той же тропинке, по которой водили нас на задание Непомнящих и Сидоров. В дороге мы обычно говорили. На этот раз не проронили ни слова. Наш командир отделения Леня Крамынин шел впереди, Рубанов за ним.

— Вы что, всегда молчите? — спросил лейтенант.

— Нет. Только при новичках. Заговорим, как обнюхаемся, — ответил Леготин.

— Значит, разведываете меня? Неплохо, таков и должен быть характер у разведчика.

— Товарищ лейтенант, волосы спрячьте, разверните пилотку по-солдатски, — предложил Крамынин. — Пряжка очень блестит, ремень бы сняли.

— Это почему же? — удивленно спросил Рубанов.

— Немецкие снайперы шибко охотятся за нашими командирами.

— Да-а! Меня предупреждали. Спасибо.

Снова молчим. Осенний день стоял прохладный, и идти было легко. До НП добрались быстро, где и провели сутки в наблюдении. Новый командир внимательно изучал обстановку и передний край противника. На второй день Рубанов спросил:

— Кто желает сходить в роту за ужином?

— Я! — отозвался новичок Данилов.

— Не заблудишься?

— Что вы, товарищ лейтенант, — ответил тот и высунул голову из блиндажа.

Воровато оглядываясь по сторонам, он дрожал. Лейтенант, заметив, спросил:

— Данилов, ты что трусишь? Что с тобой? Сядь.

— Да я... да я, чтоб снайпер не заметил.

— Ты делай это с хитростью разведчика, а не как трусливый воришка.

Мы все обратили внимание на высокого ростом и широкого в плечах Данилова. Он присел на корточки у выхода из блиндажа, пригнул голову.

— Ты что, кирюха, как сова головой крутишь?—спросил Леготин.— Дуй, снайпер — не милиционер, не промахнет. В воры он не гож, товарищ лейтенант, оглядывается шибко, сразу узнают.

— На сыщика он пошибает, — поддакнул Гриша.

— Хватит! Идите, Данилов! — сказал Рубанов. — К закату чтоб ужин был.

Данилов, осматриваясь, вылез и пополз, то и дело оглядываясь назад.

— Что за человек? — обратились мы к другим новичкам.

— Ужина не будет сегодня, он не принесет, а завтра вывернется. Это та еще сволочь, — ответил симпатичный паренек Аксененко.

— Костя правду говорит, — подтвердил сиплым голосом загорелый до черноты Лазарь Зернин. — Он страшный трус, подхалим и предатель. У нас солдат был во взводе, даже буквы не знал, и как-то у него не было бумаги. Он возьми и оторви цигарку от немецкой листовки. Данилов увидел, хвать листовку из рук его, побежал жаловаться. Я говорит, у солдата отобрал. Он читал ее.

— Ну, и что тому солдату было? — спросил Крамынин.

— Ничего, а Данилову за бдительность объявили благодарность перед строем, — ответил Зернин.

— Куда нам таких в разведку? Убить его, как суп принесет, — сказал Борис.

— Да не принесет же, я тебе говорю, — уверял Аксененко. — Башку даю наотрез, голодные будем сегодня.

— Не отчаивайтесь, посмотрим, — успокаивал Рубанов. — Отдыхайте, а мы с командиром отделения пойдем в наблюдательную ячейку посмотрим за фашистами.

Вход в ячейку был из блиндажа налево. Они ушли. Мы расселись на полынную подстилку, стали протирать оружие.

Противники обеих сторон вели перестрелку из пулеметов и минометов, от взрывов блиндаж вздрагивал, и земля сыпалась на нас и наши автоматы. Мы снова и снова протирали их.

— У меня из головы не выходит Данилов, — сказал Скольжиков.— Только стали забывать о Коваленко, вторая скотина появилась. Что за напасть на наш взвод!

В блиндаж вошел Рубанов.

— Как по-вашему, дошел наш посыльной до роты или в пути еще?

— Туда-то он допер, — сказал Леготин. — Жрет, наверно...

Прошло еще некоторое время, закатилось солнце, заметно стемнело в блиндаже, и скоро мы не видели друг друга. Появились Крамынин с Гладких.

— Гриша, посвети фонариком, мы сядем, — попросил Леня.

Недалек был час выхода в разведку. Лейтенант Рубанов рассказывал анекдоты. Но было не смешно.

— Земляки, чтобы вы сейчас поели? — спросил Крамынин.

— Шаньги со сметаной, — ответил Московских.

— А я бы стерлядку поджаренную, — отозвался Доброхотов.

— Неплохо бы сливок, — сказал Леня. — Бывало, залезу в бабушкин погреб, сниму ладонью сливки с крынок и облизываюсь как кот. Заваленко, что молчишь? Жрать не хочешь?

— Спал, — отозвался Михаил. — Видел сон. Будто Данилов свинину с тушеной картошкой принес, а она протухлая, муторно нюхать, я отворачиваюсь, мне суют ее. Оказывается, никакой еды, а Московских с шанег нашептал мне под нос.

— Что ты болтаешь, в брюхе пусто, — огрызнулся Иннокентий.

— Кажись, на рождество мы с тятей пошли проверить уды, — раздался во тьме звонкий голос Бурнина. — Шмотрим одну, другу, третью, нет и нет, рыба на десятой уде задержалась... Ташим... Шмотрим... Фу, леший, не поймем, чо тако. Головишка в дыру не лезет. Отец долбит лед, я дяржу. Кобыть старик подошел, выташили. Шшука! Да пять аршинов длиной! Мохом обросла. Пятьсот годов ей было. Всей деревней в праздник ели, примачивая самогоном. Ох и вкушнятина же была.

— Но, ты, брат, загнул, — сказал Заваленко.

— Чо загнул. Это в вашей Ие не живут по столько рыбы, а в Ангаре, говорят штарики, до тыщи лет проживают, — доказывал «рыбак».

Потешный разговор продолжался.

В блиндаж вскочили два человека. Это были саперы-разведчики.

— Товарищ лейтенант, путь вам свободен. Поле вообще оказалось незаминированным, проверили тщательно, — доложил один из них.

— Хлопцы, дайте кто-нибудь курнуть, — попросил второй.

— Бумага есть? — спросил Леготин. — Табак старшина выдал, а вот бумагу не дал. Нет, говорит, и баста. Махорки кошелек насыпал.

— Покурили? Крамынин, выходи со своими, мы за вами, — сказал Рубанов.

В глубине темного неба горящими угольками светились звезды.

Землю, словно сверкающим гребнем, прочесывали трассирующие пули. Земля была мерзлая, усыпанная чугунными, железными, свинцовыми осколками, остроту которых мы ощущали своими исшарканными до болячек телами. Ночь стояла тихая, безветренная, но стонала вместе с землей от взрывов, заглушая наше движение.

Прожектор в небе искал самолеты, в его лучах, падающих на землю, мы заметили впереди какой-то блеск. Черные точки, шевелясь, приближались больше. Навстречу ползли немецкие разведчики. Мы часто

встречались с ними и знали, что они опытны. Сжавшись ежами, мы, притаясь, ждали. Перешептывались:

— За «языком» коллеги двигают. Посмотрим, кто у кого возьмет. Сейчас мы вас,— проговорил Доброхотов.

— Не говори гоп... — сказал Крамынин. — Видишь, как ползут... Хитрые... Их тоже четверо, можем не осилить. Подпустим ближе. Только кто из них болтливый, чтоб взять?..

— Переднего оставить. Он, видать, старший, а этих кокнуть, чтоб не возиться, — сказал Леготин.

— Вы с Кешкой бьете задних. Мы с Гришкой хватаем...

И тут позади нас раздался звучный голос пехотинца:

— Второй взвод, за супом!

Я обернулся. В темноте ничего не увидел. Слышался стук котелков и снова выкрик:

— Мишка, не забудь махорки и спичек спросить! Отругай повара! Почему с ужином поздно!

— Ладно, отлаю! — как эхо, донесся голос Мишки.

Все утихло. Немецкие разведчики повернули на шум, быстро двинулись к траншеям и оказались к нам боком. Взяв на прицел их, мы ждали сигнала Крамынина. Тот посмотрел в сторону нашей поддерживающей группы.

— Что ждешь? — спросил Гриша.

— Сзади схватим.

Он медлил. Мы посматривали на него, но немцев не спускали с мушек. Указательные пальцы лежали на спусковых крючках автоматов. Мы все четверо чувствовали локти друг друга, словно были соединены между собой. Малейшее движение одного передавалось другому и приводило к еще большему вниманию и сосредоточенности. Виднелись силуэты поддерживающей группы противника. От напряжения слезились глаза. Колотилось сердце. Передовая группа немцев была совсем близко. Сигнал! И палец инстинктивно нажимает спусковой крючок. Мы застрочили из автоматов. Леня с Гришей бросились и тут же навалились на гитлеровцев. Гриша колет немца, помогает Лене. Через какое-то мгновение «язык» был на спине Крамынина. Мы ударили в заднюю группу немцев. И только отделилась наша пара от трех трупов, поддерживающие группы двух противных сторон открыли перекрестный огонь. Струи трассирующих пуль длинными нитями тянулись за уносящими пленного, освещая их, и огненными обрывками, падая, гасли в траве. Полетели ввысь ракеты. Нас и их осветило. Леня с Гришей волокли «языка». Мы с Борисом присоединились к поддерживающей группе Рубанова.

Счет был открыт, но уже ценой солдатской жизни. Кое-кто, уткнувшись головой в заросший бурьян, безжизненно отбросил руки. Бой нарастал. Группы обеспечения сблизились. Пошли в ход гранаты. Мы с яростью уничтожали друг друга. Никто не намеревался отступать. Дело доходило до рукопашной. Пехота ни та, ни другая, в бой не ввязыва-

лась. Можно было побить своих. Ракеты взмывали ввысь то из наших траншей, то из траншей противника. Те и другие «болели» за свои «команды». Слышались стоны и крики раненых товарищей, но было не до помощи. Нужно было выстоять, и мы дрались. Кончились гранаты.

Лейтенант Рубанов вскочил.

— Вперед, за мной! Ура!

— Ура! — подхватили солдаты.

— Ура! — с руганью прокричал подоспевший Доброхотов. Голосов было мало, и ругань отчетливо выделилась среди общего шума.

Немцы дрогнули, бросились назад. Конечно не от крепких слов Григория, а от стремительного нашего натиска.

Немцы, отступая, не выносили своих раненых, а расстреливали их из автоматов, чтобы мы не взяли в плен.

Рубанов дал вверх красную ракету. Две другие послал горизонтально, указывая цель. Захлопали наши минометы, заговорили «максимы», разразилась артиллерия. Под прикрытием огня мы стали торопливо отходить. Волоком тянули за собой раненых.

Огрызнулись и немцы с неменьшей злостью. Мы добирались до траншей.

Рубанов с тревогой кричал:

— Кто погиб? Ранен? Всех ли вынесли с поля? Скольжиков?

Тот не откликнулся. Между мной и Заваленко кто-то неподвижно лежал.

— Где Скольжиков? — зычно выкрикнул лейтенант.

— Кажется, вот он,—простонал раненый Михаил Заваленко.—Я выносил его. Он чуть дышал. Потом меня стегануло. Не знаю, кто-то подхватил его... Меня выволок Бурнин. Иннокентий, вынося Заваленко, тоже получил ранение.

Лейтенант посветил фонариком. У человека, лежавшего на спине, лицо было залито кровью.

— Сергей?! Живой?! Посвети, перевяжу!

И Рубанов подал фонарик Заваленко. Став на колени перед Скольжиковым, выкликал:

— Московских?

Я перевязывал Иннокентия и хотел ответить, но он отозвался сам.

— Хватануло... Да шибко...

— Ивлев?

— Фонарь надо! — послышался чей-то голос. — Рану не найду у него, темно.

Кто-то поднес кого-то к траншее.

— Кто это? — спросил лейтенант.

— Крамынин, — отозвался Доброхотов.

— Что с ним?

— Все... — Гриша положил тело на бруствер, прыгнул в щель.

Меня как обожгло. Сжалось сердце. Перестал перевязывать Московских. Вскочил, ноги затряслись, спазмой сдавило горло.

— Почему убило, вы же ушли с языком? — Свечу: Леня лежит на дне траншеи. Кровь застыла у бровей. Глаза открыты, уже остекленели. — Борис! — кричу как сумашедший. — Леню убило!

— Брось ты... — не верит тот, а голос обрывается на полуслове, он лезет к убитому, прикладывается ухом к груди, слушает. — Мертв... — и с маху, отпрянув от тела, стукнулся о стену головой. — Как могло?! Ты где, Гришка, был? — спрашивает Леготин.

— Мы спустили «языка» пехотинцам в траншею, Леня кричит им: «Покараульте, мы на помощь! Гришка, к своим!» — мы побежали к вам, застрочили по немцам, и тут он упал. Я к нему, он не дышит. «Ленька, Ленька!» — тормошу его, он молчит. Мелькнул перед лицом его фонариком. Пуля выше переносицы, кровь течет.

Взяв раненых, лейтенант, тяжело вздыхая, сказал:

— Дорого обошлось. Где «язык»?!

Доброхотов уже привел немца, сказал:

— Вот он — паразит.

В роту едва приплелись. Почти все покалеченные. Сергей Скольжиков умер в медсанбате. Лене Крамынину могилу вырыли рядом с могилой командира взвода Непомнящих. Поднесли тело.

— Ребята, прощайтесь, уходите, — едва проговорил Гриша. — Мы с Кешкой похороним.

Наступило молчание, и только слышались всхлипы товарищей.

— Пойдемте, — сказал Рубанов. — Пусть хоронят.

Из двух начальных взводов из братчан осталось нас трое — Дмитрий Дорофеев, в разведке, и мы с Доброхотовым. Опустив труп Крамынина в могилу, мы плакали навзрыд. Леня лежал перед нами, как живой, только исчез румянец и лицо поблекло. Зарыли мы своего земляка и друга Леню Крамынина, не взяв в руки лопат.

— Кеша, ну гады, отомстим мы им! Убьет меня, похорони один, — сказал Гриша. — Если тебя, я... Кто останется живой, матерям расскажет. Ох, как больно!..

Мы обнялись с ним и пошли от холмика.

День ото дня вырастали холмики на склоне Каменной балки. Взвод поредел. Выбыло шесть человек, из них четверо братчан. Я сильно разбил колено и снова попал на глаза капитану Баранову.

— Слушай, солдат, — окликнул он меня. — Забирай вещи свои, идем ко мне в штаб. Отдохнешь немного, болячки твои подживут, а там видно будет.

Что же касается Данилова, посланного за ужином накануне разведки, то он в самом деле оставил нас голодом. Данилов в роту пришел поздно. Узнали мы это от санинструктора сержанта Морозова.

— Он попросил градусник у меня, — рассказывал Морозов. — Я спросил его: «Что с тобой?». — «Захворал», — ответил Данилов и тут же забрался в свой ровик. Минут через пять—десять градусник вернул. «Дай, говорит, что-нибудь от лихорадки, треплет меня, тридцать девять градусов температура». Я не проследил за ним, а он, оказы-

вается, обманул меня, щелчком поднял температуру. Перед вашим приходом я пошел проведать его: пульс работал нормально, температура тридцать шесть градусов. «Таблетки ваши на ноги поставили,— сказал мне Данилов.— Ночь пластом лежал». Я усомнился. Таблеток-то у меня всего две было и те от головной боли.

Так Данилов остался безнаказанным, если, конечно, не считать, что мы все возненавидели его.

Того же дня, вечером, я ушел в штаб к Баранову.

В штабе пробыл два месяца и всего три раза сходил в разведку. Я сопутствовал капитану Баранову. Мы подружились с ним. Человек он был смелый и справедливый. По положению и званию, а также по образованию и общей культуре между нами была большая дистанция, но это не мешало нашей дружбе.

Однажды капитан спросил:

— Кеша, видел вчера, сколько по балкам «катюш» стоит? А сколько пушек, минометов появилось в степях? Куда ни взгляни, там огневые. Как ваши парни из Братска говорят, вот так, паря Кешка, скоро «языков» будет у нас «навалом»,— хлопая меня по плечу, говорил Баранов.—В дивизии проводятся солдатские собрания, вечером мы с полковником Шишлянниковым в разведку идем. Надо обрадовать ребят, что генеральное наступление начнется завтра.

После заката солнца рота собралась у блиндажа командира. Кто сидел на снегу, кто стоял, внимательно слушая помощника командира дивизии по политчасти Шишлянникова. Лицо полковника сияло в улыбке. Он проговорил:

— Дорогие бойцы и командиры! Дорогие лазутчики, настал долгожданный час расплаты с врагом!

Он ознакомил нас с приказом и воззванием военного совета Сталинградского фронта. Весть о переходе в контрнаступление вызвала огромный подъем среди нас. Настал час расплаты с врагом. О, как мы долго ждали этого часа, мечтали о нем, верили, что он придет! И он пробил!

В семь часов 19 ноября 1942 года сигналом к началу артподготовки прогремел залп «катюш». Он победно потряс небо и землю. Два часа смертоносный огонь бушевал над позициями немцев, а затем одновременно тысячи ракет разорвали темноту над землей. Это был не только сигнал, это был приказ о наступлении.

Пехота нашей дивизии высыпала из траншей, поливая свинцовым дождем передовую линию противника, и двинулась вперед. Раздалось нарастающее могучее «ура!».

После прорыва оборонительной линии противника наши войска продвинулись вперед на несколько километров. Идя с Барановым на передовую, мы случайно очутились на огневой позиции пятой батареи. Артиллеристы маскировали пушки.

— Ребята, где я могу увидеть Власова?— спросил я.

— Вон он идет,— сказал мне один из солдат.

Гляжу, в темноте движется человек и что-то несет на плече и под мышкой, похожее на коряжины, сучья которых торчат впереди и выше его головы. Он тяжело дышит, торопливо переступает по снегу. Спрашиваю:

— Вася, что ты прешь? Костер что ли хочешь разложить?

— Что-то голос знакомый? Да это никак Кеша? — узнает меня Власов. Он быстро подносит к пушке тяжелую ношу и сбрасывает с себя. Раздался глухой треск.

— Здорово, друг, как ты нашел батарею?

— Да я и не искал ее, так, на ура, попал.

— А мы тут баррикаду строим, пушки обкладываем немчурой, трупов уйма по полю валяется, они замерзли так, что пуля не берет. Смотри! — Власов отошел от мертвецов, которых принес, выстрелил из карабина, трассирующая пуля зюркнула в труп и, свистя, полетела в сторону. — Ишь, как рикошетят. Видать, рука отломилась, когда я его сбросил. Война, паря, от всякого страха отучит. Бывало, дома боялся днем мимо кладбища идти, тут по два покойника на себе волоку. Благодать, землю не рыть, жмуриков натаскаешь, потом снегом закопаем их — и огневая готова. Ну, брат, и наложили мы паразитов сегодня. Будут знать... Когда пушки везли сюда, невозможно было не наехать на убитых фрицев.

Вот таков был результат первого и последующих дней наступления. Немцы расплачивались за все свои злодеяния под Сталинградом.

Однажды разведчики роты вернулись из поиска с ценным «языком» — адъютантом видного немецкого офицера. Адъютант дал ценные показания и рассказал, как взять в плен офицера, у которого он служил. Трое суток вели мы наблюдение за участком, где чаще всего находился офицер. Был разработан тщательный план действий. Офицера схватили. В недавнем прошлом он был довольно важной персоной. До того, как попасть на передовую, он состоял адъютантом при генерале Паулюсе. Его допрашивал генерал-майор Макаров. На допросе присутствовали полковник Шишлянников, начальник разведки дивизии Баранов и переводчик Аркадий Гершман.

Немецкий офицер держался с достоинством и был очень сдержан. Допроса, собственно, не было, был обед, во время которого и шел разговор.

Немецкий офицер произнес тост:

— Пью за победу под Сталинградом!

— Почему только под Сталинградом, а не за полную победу над Германией? — спросил генерал.

— Я пью за то, в чем уверен, — отвечал немецкий офицер.

Последовали вопросы о положении немецко-фашистских войск в окружении.

— На вопросы, представляющие военную тайну, отвечать не буду, — ответил и добавил: — я два раза давал присягу: первый раз, когда в армию был призван, второй — перед отправкой под Сталинград.

Во время разговора была названа фамилия его адъютанта.

— Да?!— воскликнул офицер.— Вот он где! Могу ли я его видеть?

— Какая нужда в этом?— ответил вопросом на вопрос капитан Баранов.

— Что же он показал на допросе?

— Увидитесь с ним в лагере для военнопленных, там и спросите,— ответил полковник Шишлянников.—И могу вас заверить, что в таком же положении, как вы и ваш адъютант, окажется скоро и генерал Паулюс.

— Командующий не дастся вам в руки, самолет его наготове,— еле слышно пробормотал немец.

Подробности этого допроса стали известны нам спустя несколько месяцев, когда окончательный разгром немцев под Сталинградом стал уже историей. Позже Аркадий Гершман встретился с адъютантом Паулюса в лагере для военнопленных и напомнил о предсказании Шишлянникова.

— Вот и Паулюс в наших руках, господин офицер,— сказал Аркадий.— Теперь вы на равном положении. Помните, вы сомневались в этом!

Пленный промолчал...

В начале января 1943 года наш взвод готовился к вылазке ночью. К нам на НП пришел Баранов, ссутулясь сильнее, чем всегда, тут же прильнул к стереотрубе и, долго не отходя от нее, пристально изучал передовую линию противника. И вдруг неожиданно для нас он объявил:

— Сегодня в поиск пойдут только четыре человека, я пятый. Остальные ждите нас на месте. Группа будет действовать под моим началом в районе двух горелых танков у разбитого блиндажа. Устроим фрицам ловушку.

На нейтральной полосе левее нашего НП стоял горелый танк Т-34. Вблизи находилась землянка противника. Она была разбита взрывом снаряда. Бревна, служившие ей накатником, развороченные, торчали концами вверх. Часть обломков валялась у танка и вокруг развороченной землянки. Немецкая оборонительная полоса проходила чуть выше.

Наша пехота располагалась в занятых блиндажах противника, а он находился в открытом поле. На втором году войны поменялись с ним ролями. Немцы мерзли и были уязвимы, как наши войска при осеннем отступлении в 1941 году.

Стояла звездная холодная ночь. Снег под ногами хрустел, как битое стекло. Оставив одного разведчика на улице для наблюдения, мы забрались в блиндаж. Стрелки часов подвигались к трем часам ночи. На передовой, казалось, все спало. Редко возникали перестрелки. Беспокоясь за действующую группу, мы прислушивались к каждой автоматной очереди.

Не прошло и часа, как раздался условный стук часового о печную трубу блиндажа. Мы выскочили наружу, залегли. Всматриваясь во тьму, заметили человеческие силуэты, двигающиеся в нашу сторону.

— Кто это? Это не наши, — говорю Доброхотову.

— Оттуда идут, куда наши ушли.

Подпустив идущих ближе, Гриша окликнул:

— Стой, стрелять буду!

И тут же он дал предупредительный одиночный выстрел. Трассирующая пуля пролетела выше голов идущей к нам группы.

— Свои! — послышался голос капитана Баранова.

Позади капитана шли люди, качающиеся из стороны в сторону, с обмотанными головами и поднятыми воротниками, пять человек, не похожие на наших солдат — «языки». За ними следовал наш командир взвода Рубанов, я по походке его узнал. За Рубановым Леготин с Ельчининовым поднесли к блиндажу еще одного немца. Сидоров следовал позади в дозоре. Положив гитлеровца на снег, Леготин проговорил:

— Тяжелый трофей, как чувал с картошкой.

— Чем ты его стукнул? — спросил Баранов Ельчининова.

— Прикладом в затылок ударил. Видать, разбил, — ответил тот. Немец, съежившись, повернулся на бок. На снегу мы заметили черные пятна.

— У него вроде кровь из спины? — сказал Доброхотов, готовясь перевязать раненому голову.

— Он на бревна шарахнулся от удара, может, пропорол обо что-нибудь, — отозвался Ельчининов.

Мы с Гришей перевязали голову немцу, положив его на носилки, расстегнули шинель, обнаружили рану на боку. Пленный задергался, закричал.

— Смотри-ка ты, фашист артачится. Перевязывать не дает.

— Зажмите рот! — сердито сказал капитан.

— Может, ушибить его, чтоб не орал, пока перевяжут? — спросил Леготин и стал на колени в изголовье немца, зажал ему рот. — Вот собака, рукавицу кусает. Я тебя, комрад, так прижму, что салазки твои лопнут.

Борис, по-видимому, сильнее придавил его, немец не стал дрыгать ногами, и мы с Гришей перебинтовали ему туловище.

— Хорошо перемотал? — спросил Баранов.

— Как своего, — ответил за нас Леготин.

Во время перевязки раненого его пять соотечественников, находясь под охраной Сидорова, прыгали, махали руками и потирали колени.

— Надо спешить в штаб... Утром наступление нашей пехоты. Нужно допросить хотя бы одного, — сказал Баранов.

Капитан шел быстро. Немцы цепочкой еле успевали за ним. Двигались молча. Скоро добрались до расположения роты. Рубанов, Сидоров и Ельчининов остались, а мы четверо сопровождали немцев и несли раненого до штаба.

Одного пленного на допрос завели в блиндаж к Баранову, а остальных — в другой. В нем топилась печурка и горела самодельная

лампа. Два солдата комендатского взвода, находящиеся в наряде, спали на земляных нарах. Разводящий сидел у маленького столика.

— Ну-ка, паря-сержант, дай посидеть, а сам лезь на нары, — попросил его Доброхотов. — Как тут нам разместиться?

Тот поднялся с чурбака, сгорбился, чтоб не достать головой бревенчатый потолок, сел к спящим солдатам, уставился на немцев. Те обступили печурку, как только мы с Гришей завели их в караульное помещение.

— Где вы раздобыли этих тряпошников? — спросил сержант.

— На передовой, — ответил Гриша.

Воротники зеленых шинелей были у немцев подняты, и шеи с головами поверх них обмотаны тряпками. Все они были плечистые и рослые. Согнувшись над печуркой, грели руки.

Через несколько минут Леготин с Дорофеевым внесли раненого немца.

— А ну, кыш от печки! — крикнул Борис на пленных.

Те нехотя отступили назад. Поставив носилки, Дорофеев, отстраняя одного из немцев рукой, проговорил:

— Ну-ка в сторонку, дров подброшу.

Немец попятился как пьяный в сторону, чуть не упал.

Пленные что-то забормотали между собой. Потом один другому стали разматывать с голов тряпки. Лица их были обросшие и грязные, волосы взъерошены.

В блиндаже стало жарко. Они постепенно стали отступать от печурки, завертели головами, разглядывая нас, переговаривались. На раненого они не обращали никакого внимания. Тот лежал на спине, смотрел в потолок и только изредка злобно взглядывал в нашу сторону.

— Видать, добрая зверюга, — сказал разводящий. — Смотрите, как волк косит глазами на нас.

— Он даже перевязывать себя не давал нам, — сказал Доброхотов.

— На какой хрен возиться с ним, у вас и так пять «языков».

— Он пленный. Капут нельзя, — Гриша посмотрел на курносого немца. Тот зарыдал, потом стал ругать свое правительство.

— Капут дойче зольдат, никс, капут Гитлер, Геббельс, Геринг! — восклицал немец.

По-русски он не знал ни одного слова, кроме ругани. Мы сначала смеялись, а потом поведение его надоело нам.

— Заткнись, сопляк! — крикнул на него Борис. — Смотрите, как распинается: «Капут Гитлер, капут Геббельс».

Борис стал рассказывать нам, как они взяли пленных.

— Залегли мы у танка, что подбитый стоял от блиндажа меньше, чем в десяти метрах. Ну, значит, лежим, уже ноги начали замерзать. Смотрим: ползут... Подобрались к землянке. Встали. Мы лежим. Скорчились, давай бревна вытаскивать из развалины. Постоят-постоят, наверное, озирались по сторонам, прислушивались, потом опять работать.

Один к танку идет проверить. «Они едва двигаются — замерзли, — шепчет Баранов. — Надо всех взять... Оружие у них за спиной...» Немец совсем близко подошел к нам. Вскочили мы, к землянке бросились. Баранов на ходу огрел фрица, что к танку подошел. Мы так скоро подскочили к немцам, что они не успели спины разогнуть, не только оружие из-за спины схватить. «Хальт, хальт», — тихо окликивали мы. Один забозлал и — за автомат. Тут ему Ельчининов поддал, он улетел в воронку. Остальные подняли руки. Я на помощь к начальнику побежал, но он уже сидел верхом на немце, заломил ему за спину руки. Головы у него не было видно. Капитан так стукнул его, что он запахался в снег по плечи. Тряпки на кляп не оказалось. Я раз кинжалом по его же шинели, отхватил от полы и со снегом шарахнул ему в пасть. Повели их. Они, как послушные телята, потянулись один за другим.

— Наверное, все фашисты? — кося глазами на гитлеровцев, сказал сержант комендантского взвода.

Услышав знакомое слово, один из немцев, у которого шея была перевязана бинтом, отрицательно замотал головой: «Нихт фашист, нихт».

— Фашист! Фашист! Я, я СС! — тыча себя в грудь кулаком, прокричал «язык» на носилках.

— Тебя и так видно, что фашист: нос, как у хищника, к губе конец загнулся. Глаза красные, кровожадная ты сволочь! — прорычал сержант.

— Ты почему, паря, такой злой на них? — спросил Доброхотов.

— Фашисты мать мою с дедом живых в избе сожгли. Я из-под Калуги, — сжал пальцы, они захрустели. — Какие мы все же русские Иваны?! Немцы детей наших не щадят — расстреливают. А мы к печке положили, сопли им отогреваем. Ух!.. — Сержант вскочил с нар.

Немец, что ближе сидел к нарам, вздрогнул.

Распахнулась дверь, клубы холодного воздуха ворвались в блиндаж. Послышался голос капитана:

— Ведите «крестника» моего.

Мы с Леготиным повели курносого немца, которого Баранов схватил у танка.

Блиндаж начальника дивизионной разведки входил туннелем под землю в обрыве балки. Плахи, служившие потолком, были укреплены на дубовых стойках, как в шахте. Справа от входа тускло горели дрова в печурке. Спиной к ней сидел на ящике из-под снарядов Аркадий Гершман. Неохотно повернувшись, он взглянул на нас, потом уставился на немца. Хлопая длинными ресницами, Аркадий с трудом открыл глаза. Его белое лицо было сейчас серым.

Баранов сидел на толстом чурбане, облокотившись на столик, уткнулся в журнал допроса, что-то писал. Лампа, горя, потрескивала. Какой-то момент стояло молчание. Но тут нарушил его Леготин.

— Товарищ капитан, разрешите нам побыть на допросе фрица? Охота послушать, что будет лопотать эта ворона.

— Садитесь, — и Баранов слегка кивнул головой на нары, что бы-

ли позади него. Мы сели. Немец стоял посредине блиндажа, смотрел в земляной пол.

— Ну что, Аркадий, начнем? — спросил капитан. — Задавай вопросы: понимают ли солдаты, что сопротивление немцев под Сталинградом бессмысленно?

Гершман потер ладонями лицо, глаза его стали яснее. Он по-немецки спросил пленного. Тот вскинул голову, как петух перед пением, хрипловатым голосом что-то ответил.

— Да, говорит, уверены они, что им капут, — перевел Аркадий.

— Приходилось ли вам лично читать наши обращения в листовках, и как вы на них реагировали? — задал капитан следующий вопрос.

— Читал неоднократно, но я не верил — в них пропаганда, а потому перебегать к вам не собирался. Листовки действуют на трусов... Я не предатель, чтоб добровольно сдаться... Перебежчиков уважаем и мы и вы только на допросах.

Капитан Баранов, послушав ответ, посмотрел на нас и сказал:

— Он прав, трус — тоже предатель. Ради спасения шкуры своей он на все идет.

— Товарищ капитан, нельзя ли спросить пленного, как относятся они к немцам, состоящим в Коммунистической партии? Не считают ли их предателями? — сказал Аркадий Гершман.

— Спросите, — разрешил капитан.

Немец выслушал вопрос, пожал плечами и вместо ответа спросил:

— К вам перешел кто-нибудь из коммунистов Германии?

— Отвечайте, а не задавайте встречных вопросов, — сказал лейтенант Гершман.

— Немецкие коммунисты против войны Гитлера. Не знаю, кем их считать, — ответил допрашиваемый.

— Почему фашисты на допросах подвергают наших пленных тяжелым пыткам?

— Немецкое командование делает это для того, чтобы выведать у пленного что-нибудь полезное для войны с русскими, — отвечая на вопрос, пленный как-то съежился.

— Если бы наши разведчики попали к вам в плен, что бы ваше командование с ними сделало?

Немец посмотрел в нашу сторону, остановил свой взгляд на Борисе Леготине, затем, поглядев на укороченную ножом полу своей шинели, ответил:

— Капут!..

Баранов засмеялся:

— Борис, ты слишком много отрезал... — и серьезно сказал: — Хорошо, знаем, что «капут», но мы не расстреливаем.

— Не убежден, что вы меня не будете бить, если я вам больше ничего не скажу.

— Слово русского офицера! Никто вас не тронет, — заверил его Баранов.

— Значит, я напрасно боюсь вас, господин офицер?

— Да, напрасно. Если даже вы и не будете отвечать на вопросы, мы не тронем вас.

Немец успокоился и, глядя на жилистые руки Баранова, почесал затылок. При взятии в плен наш начальник «пощупал» его по голове, и удар, по-видимому, давал о себе знать.

Наступило утро. Сон брал свое. Мы с Леготиным сначали дремали, потом я уткнулся Борису в плечо, а он прислонился к стене, и мы продолжения допроса курносого не слышали.

— Кончай храпеть! — очнулся я от голоса Баранова. — Уведите его! Приведите немца в форме, танкиста.

Вышли из блиндажа. Чтобы прогнать навалившуюся сонливость, мы с Борисом натерли лицо жестким снегом.

Немец, глядя на нас, бормотал:

— Гут руссиш зольдат, гут.

Он, трясясь, хвалил нашу бодрость.

Немецкий танкист по фамилии Нейгебауэр рассказал, что их танковые части не располагают горючим и поэтому танкисты служат в пехоте. Солдаты немецкой армии, попавшие в сталинградский котел, деморализованы, ждут своей гибели, в лучшем случае, плена. Попавшим в окружение войскам не хватает обмундирования, их изводит голод. Чтобы предотвратить переход немецких солдат на нашу сторону, Паулюс издал приказ об укреплении своих войск офицерским составом.

В то время, когда допрашивали пленных, в штабе дивизии находился немецкий писатель Вилли Бредель, прибывший к нам от организации Союза Свободной Германии. Писатель интересовался обстановкой на Сталинградском фронте. Беседуя с полковником Шишлянниковым, Бредель попросил встречи со своими соотечественниками, оказавшимися у нас в плену. Ему разрешили. При допросе Нейгебауэра полковник Баранов спросил его:

— Вы знаете немецкого писателя Вилли Бределя?

Тот пожал плечами, ответил:

— Такого писателя в Германии нет. — И, помолчав, добавил: — Мы не признаем его. Бредель — русский писатель.

— Он сейчас находится у нас в штабе, хочет поговорить с вами,— сказал капитан.

— Я не против, — согласился танкист.

Во время допроса танкиста мы внесли раненого эсэсовца. Постелили на полу, уложили. Он лежал, как мертвый, но, когда услышал показания своего соотечественника, завозился на носилках, стал плевать в его сторону, выкрикивать оскорбления.

— Аркадий, ну-ка прицыкни на него! — сказал капитан.

Тот наклонился над ним, что-то громко проговорил. Эсэсовец умолк. Но когда Гершман снова спросил танкиста и тот стал отвечать на вопрос, раненый немец истошно зарычал, вывалился из носилок.



Сбор партизан.

На Крайнем Севере.

За околицей. 1928.

На Байкале (у истока Ангары).





Сосновый лес. 1926.

Лесорубы.

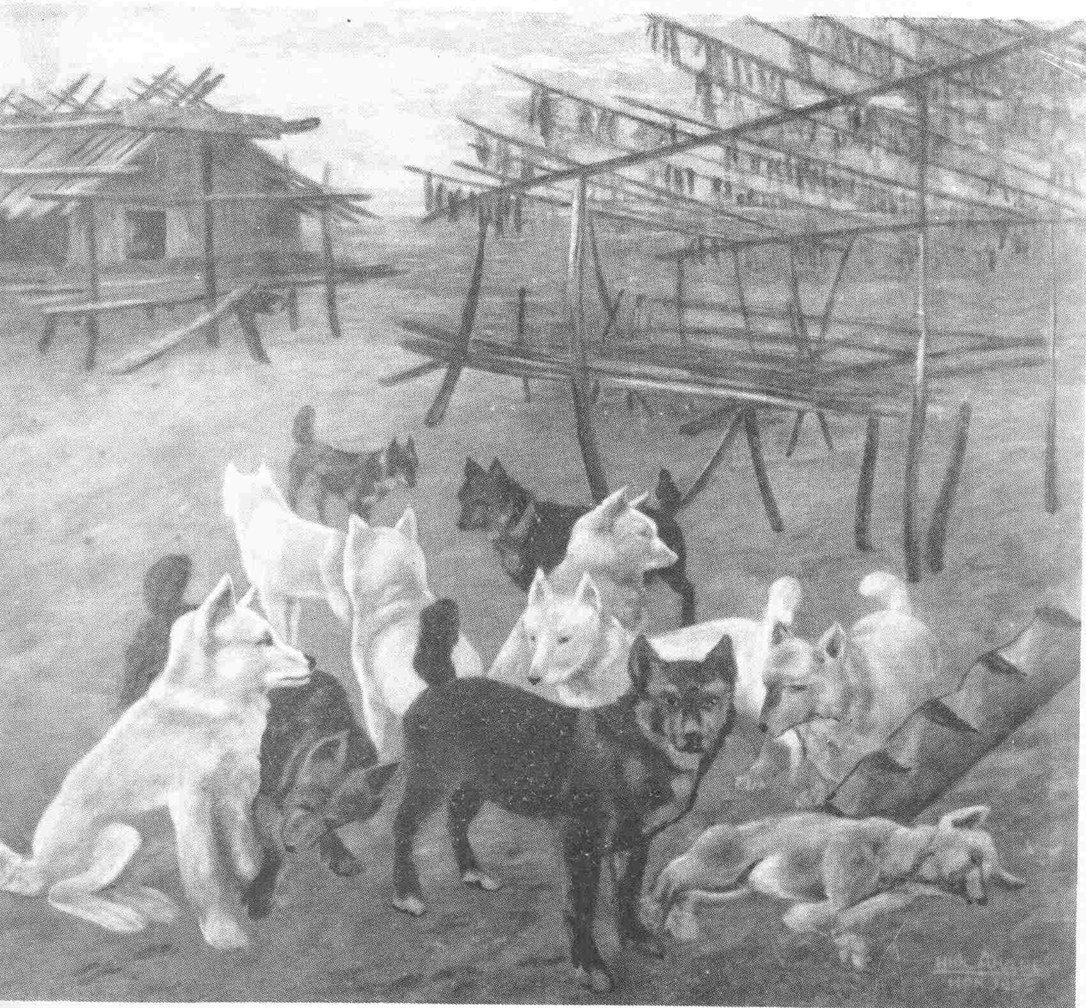




Челдон. 1923.

Якуты.





Собаки Севера.

— Молчать, зверюга! — Баранов стукнул по столу кулаком. Гильза, служившая за лампу, упала, потух свет.

Снова зажгли... Фитиль разгорелся. Начальник разведки встал, подошел к раненому. Тот выл.

— Перестань, сволочь, а то выброшу!

— Что, перевести ему? — спросил Гершман.

— Не надо,— спокойно ответил Баранов, сел на прежнее место.

Все попытки капитана и переводчика были безуспешны. Гитлеровец не прекращал возню, кричал, выл, пытался встать. Но тяжелая рана не давала ему подняться.

— Укротите этого тигра, — глядя на нас с Леготиным, сказал Баранов.

С помощью портянки мы кое-как заставили немца молчать.

После допроса Нейгебауэра, когда увели его, у эсэсовца вытащили кляп, развязали руки и стали задавать вопросы. Он не отвечал.

Аркадий поднес ему стакан водки. Тот выбил его из рук. Вошел генерал-майор Макаров. Придерживая одной рукой полушубок, наброшенный на плечи, поздоровался за руку с Барановым, Гершманом и нам кивнул головой. Мы вытянулись.

— Улов прекрасный сегодня. Ну и как они отвечают на вопросы? — спросил генерал.

Баранов рассказал командиру дивизии о поведении эсэсовца.

— Тебе, наверное, приходилось казнить наших пленных? — спросил генерал через переводчика.

— Да, казнил, — ответил немец.

— Видали его, как отвечает, — проговорил Макаров и снова задал вопрос.

Мы наблюдали с Борисом, перешептывались.

— Чего они возятся с ним, что ждать от этого фашиста? Дали бы нам его.

— Отправлять в лагерь этого негодяя нет смысла: не выживет, — негромко сказал генерал. — Пурга замела дороги, и своих раненых вывезти невозможно. Следовало бы расстрелять его, но мы не они! Отправьте в санбат, а там посмотрим!

На этом допрос закончился. Мы ушли в расположение роты.

Встреча Вилли Бределя с пленным Нейгебауэром состоялась. Несколько дней они были вместе. Танкист дал согласие немецкому писателю и нашему командованию вернуться в свою часть, провести там агитационную работу среди солдат, разъяснить, к чему ведет их Гитлер, убедить, что война немцами будет проиграна и Германия потерпит полный крах. Воевать бессмысленно, особенно под Сталинградом. Он уверял, что сможет убедить своих сослуживцев, которые поговаривали о переходе к русским. «Возможно через два дня я вернусь к вам с группой немецких добровольцев».

Обращение нашего командования и Союза коммунистов Германии к немецким солдатам спрятали в повязке забинтованной ноги Ней-

гебауэра. Сапоги заменили ему новыми валенками, дали продукты, и мы с лейтенантом Аркадием Гершманом привели его к нейтральной полосе. Стояла темная ночь, и заметить по физиономии, волнуется ли немец, было невозможно.

Уходя от нас, он поднял руку и сказал:

— Ауфвидерзеен!

Наблюдая за удаляющимся посланником, мы залегли в снег. Обернувшись, он что-то еще крикнул нам, но Гершман не понял его слов. Через три-пять минут осветило ракетой силуэт танкиста. Был ли оклик из немецких траншей и ответ приближавшегося Нейгебауэра, мы не слышали.

Пролежав несколько минут, лейтенант Гершман проговорил:

— Пора. Они, наверное, сейчас как собаки голодные уплетают наш хлеб?

— Интересно знать, дадут долю танкисту или нет?

— Он наелся у нас на целую неделю. Говорят, за раз съедал по котелку каши, — ответил Аркадий.

Вечером следующего дня лейтенант Гершман пришел с Вилли Бределем и радистом Бухаровым к нам на НП. Немецкий писатель не говорил по-русски, и был приставлен к нему Гершман переводчиком. Гершман предложил ему сесть на термос, стоящий в левом углу блиндажа.

Мы с интересом разглядывали Бределя, слушали его разговор с Аркадием. Но увы! Ничего не понимали.

При тусклом свете плохонькой горелки не видели его лица, когда он поворачивался к Гершману.

Блиндаж был маленький, и мы с Леготиным примостились у выхода.

— Вот уж никогда не думал, что у немцев тоже есть коммунисты, — проговорил Борис, когда Гершман и Бредель, разговаривая, громко захохотали.

— А сколько у них коммунистов-то? Наверное, большевики тоже есть, как у нас? — спрашивал нас с Доброхотовым Леготин, как будто мы больше его знали.

— Спросить бы у него, — сказал Гриша.

— А о чем они на партийных собраниях говорят? Наверное, тоже между собой лаются, как у нас. «Ты плохо воюешь, у тебя дисциплина плохая». А у них, наверно, так: «Ты, паря комрад, плохо работаешь на русских, надо лучше, война скорее кончится». Вот послушать бы, как они на собраниях бормочут, — сказал Борис. — Наверное, один на другого: «Гыр, гыр, було, було». Вот потешный же их язык. Даже ругань не выделяется в разговоре. То ли дело по-русски, как загнешь, аж воздух колется, — Борис вполголоса продемонстрировал.

— Леготин, ты чего там разоряешься? — спросил Гершман.

— Гришка махорку просыпал, вот мы костерим его с Кешкой на чем свет стоит.

— А ругань-то зачем?

— Всяко у нас бывает, — ответил Доброхотов.

Вилли Бредель посмотрел на нас, потом заговорил с Гершманом. Тот, по-видимому, что-то рассказывал о нас, смеялся.

— О! Сибир. Гут, гут, Сибир, — и Вилли закивал нам головой.

— Товарищ лейтенант, — обратился Леготин. — У него нельзя подстрелить на папироску?

— Нет! — ответил Аркадий.

Открылась дверь, и показался радист Бухаров, стал докладывать:

— Товарищ лейтенант, я вынес рупор на нейтральную и установил. Можно присоединять микрофон...

Мы вышли и присели у НП, чтобы послушать передачу немецкого писателя. Раздался стук в рупоре. Потом голос на передовой противника.

Вилли Бредель находился в блиндаже и вел оттуда передачу. Речь его хорошо было слышно. Голос был ровный. На передовой возникла тишина. Немцы слушали писателя. Он долго говорил. Но как только передача закончилась, противник обрушил на нас ураганный огонь. Так бывало, когда выступал и Аркадий Гершман. Но он выступал не из блиндажа, а подползал к окопам немцев.

Однажды мы спросили его:

— Почему действуете в одиночку, товарищ лейтенант?

— Мне ничего не надо. С трубой справлюсь сам, — так он называл рупор. — Если засекут немцы, так одного.

Как-то вблизи Мамаева кургана Гершман появился на передовой. Он пошел от нас в сторону немцев. Через несколько минут послышался его голос в рупор: «Ахтунг, ахтунг».

Как только он замолк, полетели вверх ракеты и застрочили пулеметы. Немцы обстреляли тот район, где был Аркадий Ильич. Мы тревожились. Он долго не приходил. Появился Гершман неожиданно позади нас.

— Как вы очутились здесь? — спросил лейтенанта Василий Рубанов.

— Я не глупее фрицев и знаю, что после «лекции» они «аплодировать» будут пулеметами и артиллерией, станут искать в темноте лектора. Со снежной трибуны я кинулся влево по нейтральной, а потом уже свернул к вам.

О действиях лейтенанта Гершмана писали газеты. У меня сохранились вырезки: одна из газеты «Сибирский стрелок», другая из «Патриота Родины» от декабря 1942 года. Вот одна из заметок.

«Немецкие солдаты, вы окружены».

«Мороз. Тишина. Плотно прижимаясь к земле, ползут к немецким окопам переводчик лейтенант Гершман и лейтенант Бутыгин. Они тащат рупор. Изредка над передним краем взвиваются ракеты. Фрицы рядом.

— Здесь, — шепчет Гершман.

Несколько минут они возятся в снегу, устанавливая рупор. И вдруг тишину разрезает звонкий голос:

— Немецкие солдаты, внимание! Вы окружены...

Гершман говорит в рупор о наступлении Красной Армии, о бегстве войск Роммеля в Северной Африке. «Ваше положение безнадежно. Единственный выход для вас — сдаваться в плен».

Бутыгин, лежащий рядом, шепчет:

— Ты передай им, чтобы свергли Гитлера.

Переводчик охотно выполняет «заказ» Бутыгина. Окончив передачу на этом участке, он ползет дальше и снова до слуха немецких солдат доносится его голос».

С немцем Нейгэбауэром были условлены время и место перехода к нам немецкой группы солдат. На том участке, где им предстояло перейти, наша пехота была предупреждена. Мы ждали перебежчиков три ночи, но не дождались.

После разгрома под Сталинградом мы не обнаружили его в лагере для военнопленных. Он или был убит во время военных действий, или расстрелян фашистами.

Утром 22 января, после некоторого перерыва, наши войска снова пошли в наступление. Немцы большими группами и частями сдавались в плен. Ночами мы уже не ходили в разведку, не было нужды в этом, и нам иногда доводилось наступать с пехотой нашей дивизии в районе Мамаева кургана, где окруженные группировки немцев были раздавлены на две части. Затем наша рота участвовала в боях в самом городе.

31 января сопротивление врага было окончательно сломлено. Немцы с перекошенными от страха лицами поднимали руки... Это была победа под Сталинградом. Позднее мы увидели группу немецких генералов и офицеров, шедших под конвоем наших солдат. Нам очень хотелось узнать, кто из них Паулюс, и мы один у другого спрашивали:

— Который Паулюс?

— Да вон тот!

По всем дорогам разбитого города выводили наши солдаты колонны пленных. По приказу старшего лейтенанта Быкова мы всей ротой лазили по подвалам, блиндажам, искали и находили гитлеровцев, ходячих и не ходячих, раненых, пообмороженных и плохо двигающихся от голода. Длинные вереницы пленных до позднего вечера 31 января извивались по дорогам сталинградских степей. День был морозный, и над колоннами немцев поднимался серый туман, словно пар над баней. Вороны, как бы чуя, что уходит падаль, стаями кружились и каркали над головами «завоевателей» мира. Под десятками тысяч ног снег урчал и визжал по-собачьи. Под снегом земля стонала чугунным гулом, точно невмоготу ей было держать на себе гитлеровскую ораву.

Идя вдоль колонны, мы смеялись над ними. Леготин, поравнявшись с рыжебородым офицером, спросил его:

— Что, бугор, морду тебе Иван начистил? Хлястик шинели болтается, как обезьяний хвост. Сапоги стоптал. Ты что, паря, опустился?

Офицер шел скользя, не поднимая головы на Бориса.

Мы привели немцев в расположение роты. Борис стал критически

осматривать другого здорового офицера, обросшего черной щетиной, с грязным лицом, с наброшенным на голову пестрым полушалком. К Леготину подошел старший лейтенант Быков, спросил:

— Что, налюбоваться не можешь?

— Да вот смотрю, кто из офицеров больше на огородное чучело похож, — ответил Леготин. — Вот этот бугай, пожалуй, как раз подойдет, — и показал на офицера, возле которого стоял. — Такого пужала не только воробьи пугались, а ребятишки бы не пырнулись в огород.

Вот на кого стали похожи победители Европы.

Сдав пленных в лагерь, что находился в селе Дубовка, мы вернулись в роту и отпраздновали день победы.

Хорошо побеждать! Нет большего счастья для солдата, чем ощущать себя победителем. Мы не узнавали себя. У нас даже осанка стала иной, шаг стал тверже, увереннее.

«АНГАРА» ВЛИВАЕТСЯ В ОБЩИЙ ПОТОК СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Библиография об альманахе «Ангара» (1958 — 1968 гг.)

Титов В. «Ангара»— новый альманах иркутских писателей.— «Вост.-Сиб. правда», 1958, 19 января.

Абрамович А. «Ангара». (О первом номере альманаха Иркутского отделения ССП.) — «Вост.-Сиб. правда». 1958, 14 мая.

Самсония А. Третий номер альманаха «Ангара». —«Вост.-Сиб. правда», 1958, 4 октября.

Лисин Л. За высокое художественное мастерство. («Ангара» № 1 за 1959 г.) —«Вост.-Сиб. правда», 1959, 21 августа.

Титов В. Альманах «Ангара» в 1960 году.— «Вост.-Сиб. правда», 1959, 30 октября.

Абрамович А., Трушкин В. Главное — современность и мастерство. (Альманах «Ангара» должен стать летописью современной Сибири.) — «Вост.-Сиб. правда», 1959, 28 ноября.

Жилкина Е. Номер 4. (Четвертая книга альманаха «Ангара» за 1959 г.) — «Советская молодежь», 1960, 10 января.

Дубовцева И. Глазами современника. («Ангара № 4 за 1959 г.)—«Вост.-Сиб. правда», 1960, 22 января.

Скшидло А. О современнике говорить страстно и правдиво («Ангара», № 3 за 1960 г.) —«Вост.-Сиб. правда», 1960, 18 ноября.

Гайдук В. Современность, требовательность, мастерство. («Ангара» № 4 за 1960 г.)— «Вост.-Сиб. правда», 1961, 16 марта.

Боннер А. Читатели обсуждают альманах (читательская конференция в Научной библиотеке Ирк. гос. ун-та). — «Вост.-Сиб. правда», 1961, 12 мая.

Дубовцева И., Рубанович А. Два номера Альманаха «Ангара» (1961.). — «Вост.-Сиб. правда», 1961, 3 сентября.

Чуйко К. Заметки об альманахе «Ангара». (№ 3 и 4 за 1961 г.)—«Вост.-Сиб. правда», 1962, 20 февраля.

Фоняков И. Мы здесь живем. («Ангара» № 1 за 1962 г.)— «Литературная газета», 1962, 12 июля.

Абрамович А. «Ангара» нынешнего года. (№ 2 за 1962 г.)—«Вост.-Сиб. правда», 1962, 25 июля.

Салазкин К. Познакомьтесь: «Новая «Ангара» (№ 3 за 1962 г.)—«Советская молодежь», 1962, 23 октября.

Таурин Ф. «Ангара». (№ 4 за 1962 г.) —«Вост.-Сиб.правда», 1962, 17 ноября.

Пудалова Л. Пора оживить «Ангару»... (№ 4 за 1962 г.)—«Советская молодежь», 1963, 27 февраля.

Абрамович А. Находки в прозе, поиски в поэзии. («Ангара» № 3, 4 1962 г. — «Вост.-Сиб. правда», 1963, 9 марта.

Гусенков В. Первый номер альманаха «Ангара» (за 1963 г.). «Вост.-Сиб. правда», 1963, 30 марта.

(Окончание на стр. 76.)

Леонид **АНДРЕЕВ**

СТИРКА БЕЛЬЯ

И снова женщина стирает
В реке какое-то белье.
Босой ногою наступает
На отражение свое.
Я совершенства завершенность
В ее движениях постиг.
И отраженья отрешенность
Была к лицу ей в этот миг.
В скупом ненастном освещенье,
Раздваиваясь на волне,
Мне кажется, что отраженье
Той женщины плывет ко мне.

МАСТЕРСКАЯ

1

Здесь стружки, словно пена.
Здесь дерева состав
Сдается постепенно,
Упорствовать устав.
Он клейстером пропитан,
Исхлестан молотком.
И принял форму быта,
Став стулом и столом.

2

Среди понятий точных
Разумного труда,
О, мастер, ты — художник
Повсюду и всегда.
Твой взгляд упрям и точен,
Крепка твоя рука.
Ты вечно что-то точишь,
Стуча у верстака.

3

Есть строгие законы,
Что творчеству сродни:
Покуда не закончил,
Усталость прочь гони.
Ты долбишь до полночи,
Насилуя верстак.
Скажи, чего ты хочешь
Создать и наверстать?

4

Уткнулся месяц белый
В недопитый стакан.
Опилки, словно пепел,
Лежат у верстака.
И голова седая
Упала на ладонь.
Здесь вечность, созидая,
Промчалась, как огонь.

* * *

Где-то в голубой степи
Плачет маленькое «спи».
Прячет голову в крыло
Маленькое «спи светло».
Знаете, как я люблю
Маленькую птичку «сплю».
Словно с плеч моих гора...
«Спи спокойно до утра».

* * *

Задумчивы, мглисты
Истоки весны.
Запутался листик
В сетях тишины.

Туманная высинь
Провисла с куста.
На вольные выси
Взошла темнота.

Плутаю за речкой,
По лесу хожу
И сердце, как свечку,
В ладонях держу.

От спящих селений,
Полей и дорог
До центра Вселенной
Свети, огонек.

Михаил ГРЕШНОВ

ОДНО АПЕЛЬСИНОВОЕ ЗЕРНЫШКО

Фантастический рассказ

Сержанта Бирнса мало пороли в детстве. А его следовало пороть больше — внушать ему страх божий и послушание. В конце концов, если Штаты на этот раз уцелели, то благодаря выдержке русских... А Бирнса следовало пороть до волдырей на его поганой бело-розовой шкуре.

А может быть, виноват апельсин? Глупый и круглый, как пятнадцатисуточная луна?..

Или спрос за все — с майора Маккинли? Должен же был он заметить апельсин в кармане этого олуха Бирнса?..

Наше хозяйство держится на оранжевой кнопке. Шахта, арсенал с ядерными боеголовками, четыре смены патрульных — все вокруг кнопки. Главное — сидеть и смотреть. И ждать. Зажжется красная лампа — вдавить кнопку в гнездо... Дальше все пойдет своим ходом: крышка сдвинется с жерла шахты, вспыхнет искра в камере зажигания. В штабах, в комнатах президента зажгутся табло. На пунктах СУ — стратегического удара — тысячи пальцев лягут на кнопки. Остальное, как говорится, — от бога.

Но главное все-таки — сидеть и смотреть. Так мы и делаем — смотрим на кнопку. Она центр вселенной. Она — божество, очаровавшее нас до последней клеточки мозга. Несомненно, очарован был и девятнадцатилетний сержант. Но — черт его побери — как он осмелился жрать перед божеством апельсин? Как осмеливался дышать?.. Когда он закусил плод, из мякоти выпала косточка и попала в лунку, на кнопку. Машинально — так он дает показания — Бирнс нагнулся к зернышку, машинально пальцы его сложились один на другом, и Бирнс сделал щелчок. Скользкое семечко прыгнуло из-под ногтя, щелчок пришелся на кнопку. Кнопка щелкнула и села в гнездо.

В первый момент Бирнс не понял случившегося. Только увидя красный сигнал, он ахнул и приподнялся со стула. И что же он, дурак, сделал? Попытался ногтями поддеть кнопку и поставить на место. Но тут кругом загудело, завыло.

— Бирнс!!. — услышал он позади.

В дверях с перекошенным лицом стоял Маккинли.

В последующие пятнадцать минут можно проследить лишь отдельные сцены и вспышки характеров, ибо никакая фантазия не в состоянии охватить действий, развернувшихся в течение этого срока на земном шаре.

На Центральном Посту Управления сигнал увидел Командующий группой объединенных штабов.

— Что?.. — отшатнулся он в кресле, чувствуя, как нижняя часть лица его холодеет. — Кто? — включил операторскую.

— Пятьсот семнадцатый, сэр, — последовал ответ. — Штат Нью-Джерси, стратегическая ракета ММ-2. Командиром майор Маккинли.

— Вызвать! — рявкнул Командующий.

С подбородка холод переливался к затылку, шевелил волосы: Командующий знал, куда направлены ракеты от первого до шестисотого номеров. «Что случилось!..» — шуршало в его мозгу, словно бумажная телеграфная лента наматывалась на череп. Сквозь нее Командующий видел, как из ангаров выкатываются бомбовозы, всплывают ближе к поверхности «Наутилусы» и «Драконы». Механически он включил систему слежения. Локаторы в штатах, в Канаде, на Аляске и Окинаве вонзили щупальцы в небо. Тупорылые бомбардировщики над Европой повернули навстречу солнцу.

— Что случилось! — хрипел Командующий в телефонную трубку.

Слышно, как в проводах гудит время: сто сорок секунд, сто шестьдесят... Ракета идет на подъем, еще никто не знает, может быть, это метеорологическая ракета, может, носитель спутника, но всюду тысячью глаз горит красный сигнал. Три минуты... Командующий делает глотательное движение и не может проглотить жесткий ком.

Вздох где-то на проводе звучит громом.

— Кто!

— Майор Маккинли, сэр, командир пункта пятьсот семнадцать.

— Что!.. — У Командующего хватает воздуха только на постановку односложных вопросов.

— Сержант Бирнс, — докладывает Маккинли, — ел апельсин. Зернышко упало на кнопку...

— Вы... вы... — спрашивает Командующий. — Что вы плетете!

— Случайно Бирнс вдавил кнопку в гнездо.

— Майор, — вы в своем уме!..

— Да, сэр, произошел запуск.

— Вы отдаете отчет в случившемся!..

В трубке молчание. Только в проводах плещется и гудит время. Двести двадцать секунд, ракета вышла на курс...

— Что теперь делать! — спрашивает Командующий.

— Не знаю... — чистосердечно признается Маккинли.

Рывком, как пианист в прощальном аккорде, Командующий включает клавиатуру селекторов:

— Отставить! — кричит он пунктам СУ.

— Назад!.. — бомбардировщикам над Европой.

— Отбой!.. — подводным дредноутам.

На часах — семь минут, ракета пролетела над полюсом...

— Остановитесь! Остановитесь!.. — кричит Командующий. Он как ребенок, который пытается руками удержать падающую стену.

Хрустнули на клавишах пальцы. Командующий зажмуривает глаза, глубже втискивается в кресло. Светопреставление началось...

У Президента шло совещание по Вьетнаму. Огромная карта Азии лежала на столе, как скатерть, углы ее свешивались до пола. Четырнадцать советников, голова к голове, спорили над ней, как добиться победы. Президента среди них не было, из смежной комнаты он говорил с дочерью по телефону. Она поссорилась с мужем,

закрылась в спальне и беспрерывно звонит отцу: «Что мне делать!» Пятый раз Президент покинул советников, чтобы отечески сказать ей:

— Мирись. Такое бывало и у нас с мамой.

Дочь со стуком бросила трубку. Это значит: звонок раздастся опять. Сколько раз Президент говорил домашним, чтобы не отрывали его от дел семейными дрязгами. Как об стену горохом!.. Трудно быть отцом и президентом одновременно...

Может, уладится! На цыпочках Президент пошел от аппарата к двери, но прежде, чем коснуться портьер, задержался: отчетливо, как на митинге, сквозь бархат звучали речи советников:

— Дайте мне четыреста тысяч солдат! — требовал военный министр.

— Не понимаю, почему не кончить разом всю эту музыку! — перебил мистер Дэвидс. — Полдюжины аккуратных «Айч» — и разговорам конец. Предлагает же генерал Эйзенхауэр...

Дэвидс был штатским. Тем более он верил в силу оружия. «Айч» — водородная бомба, — по его мнению, была совершенством: стоит скомандовать: «Раз, два!..» и ко взаимному удовольствию Дэвидса и граждан Америки с коммунистами будет кончено.

— А почему не предложить корейский опыт! — раздалось с другого конца стола. — Микробы не хуже, чем бомба «Айч». Фирма «Армстронг энд Компани» предлагает египетскую чуму времен фараонов первой династии.

— Да!..— переспросил кто-то. По голосу ясно, что он согласен с чумой.

— Способ лечения засекречен.

— Дайте мне... — басит военный министр.

Президент не ждет конца фразы, он раздражен неурядицей дома и затянувшимся спором:

— Господа! — входит он в залу. — Пора подойти к решению.

— Четыреста тысяч солдат... — настаивает военный министр.

— Сегодня четыреста тысяч, — парирует Президент, — завтра пятьсот, может, шестьсот, а мо... мо... м-м... — Президент мычит, уставив округлившиеся глаза в угол комнаты. Головы советников как на шарнирах поворачиваются в направлении его взгляда. На табло горит красный свет. Больше того, шкала, на которой отмечается безопасное время, светится до половины — с момента тревоги минуло семь минут...

По кругу советников прошел шелест — словно ветер тронул камыш. Тронул и замер — все оглохли от тишины... Где-то в конце коридора хлопнула дверь, кто-то пробежал рысью, загремели ступени винтовой лестницы. И все. Тишина была, как в гробу. Только табло расширяло полосу света, отрывая оставшиеся секунды.

— Господин Президент, — свистящим шепотом сказал военный министр, обычный бас ему предательски изменил. — Вам... необходимо спуститься!..

Это стало сигналом — криком души для всех. Советники ринулись прочь из комнаты.

— Господин Президент, скорее... — министр тянул Президента за руку.

Странная картина представилась Президенту. Коридор, длиной чуть ли ни в четверть мили, был пуст, как церковная паперть в ненастный день; двери кабинетов распахнуты, там и тут валялись бумаги, канцелярские папки. Нигде ни души, последний абориген — все еще было слышно — стучал каблуками по лестнице, спускаясь в противоатомный бункер.

— Господи... — прошептал Президент.

— Скорее!.. — тянул его за руку военный министр.

Удивительнее всего, что стая советников мчалась бесшумно, точно на крыльях: одни впереди Президента, другие рядом, но — без единого звука, как совы. Бесшумно влетели в маленький тамбур, к президентскому лифту.

— Господа! — предупредил военный министр, к которому наконец-то вернулся голос. — Лифт берет не больше восьми человек...

Но стоило появиться кабине — вся толпа, как прибой, хлынула в жестяную коробку: десять, четырнадцать человек... Только щуплый Дэвидс оказался отброшенным. Шарил по захлопнувшейся двери, глядел тусклыми, как долларовые кружки, глазами и умолял:

— Господин Президент, я — Дэвидс...

Кто-то нажал на спуск, кабина дрогнула, пошла вниз.

— Я Дэвидс, Дэвидс!..

Железная дверь гудела под ударами кулаков.

— Боже... — Президент хотел перекреститься, но, стиснутый, как цыпленок в кошелке, не смог.

Бомбардировщик «Би-60» неторопливо плыл в зоне над Пиренеями. Это был обычный дежурный полет. Со времен Даллеса дежурства в воздухе шли круглосуточно, как стрелки смазанных и хорошо отрегулированных часов. Когда эскадрилья N садилась на аэродром А, эскадрилья М поднималась с аэродрома В. Просто и понятно, как в арифметике... Из всех умников Даллес, несомненно, был самым умным: враг может ударить по базам, аэродромам. Но как ударишь по всей атмосфере! Есть какой-то шанс отыграться....

Первый пилот, полковник Джон Вуд, признаться, думал об этом меньше всего. Вчера ему исполнилось сорок. Приятели хлопали по плечу: «На отдых, старик! Можно тебе позавидовать!». Верно, позавидовать можно: будет пенсия, будет ферма. Можно, наконец, заняться сыном. У мальчика слабые ноги — болел полиомиелитом. Ему надо больше ходить. Не по тротуарам Чикаго — нужны тропинки, проселочные дороги, как было в детстве у Джона. И, черт возьми, это возможно! Двадцать лет службы в воздушном флоте при достаточной экономии обернулись какой-то суммой в банке... Джону не по душе четыре ракеты «Воздух—земля» под крыльями самолета, но, что поделаешь, за это ведь платят деньги... Мальчик не будет пилотом — болезнь навсегда закрыла ему путь в авиацию. Джон немножко рад этому. Странно созданы люди: отец радуется болезни сына... Маленький Вуд чуть не с пеленок молится на отца — на его летную форму, нашивки. Не было самолета в небе, чтобы мальчик не кричал ему вслед: «Папа!» Сам Джон ненавидит бомбардировщики и ракеты и теперь сделает все, чтобы внушить это чувство сыну.

Плывут под крыльями горы, плывет небо над головой. Рядом дремлет второй пилот. До окончания вахты немного — Джон переводит взгляд на ручные часы — тридцать восемь минут. Рэчел подарила ему часы в день свадьбы, четырнадцать лет назад. С тех пор они вместе ждут конца его службы. Рэчэл сейчас тридцать четыре года... Джон поднимает взгляд на приборы — дрожь пронизывает его: словно прицелившись ему в лоб, на панели горит красный сигнал... С первой секунды Джон ощущает, что

это не лжетревога: о маневрах предупреждают заранее, об учениях не было речи... Скорее в страхе, чем отдавая себе отчет, Джон прибавляет газ. Моторы бросают машину вперед. Второй пилот открывает глаза. Какое-то время бессмысленно глядит на сигнал, потом поднимает руки к вискам, оборачивается к Джону:

— Война!..

И сразу мир становится маленьким и абстрактным: плывут внизу черточки рек, скопища бетонных коробок — дома; людей вовсе не видно — с высоты их не рассмотреть. А может, их нет совсем! Может — это чужая планета, враждебная Terra incognita, по которой надо ударить атомным кулаком! А Рэчел! Маленький Дин!...

Сквозь потрясающий гул моторов Джон слышит толчки своего сердца, чувствует полет времени, разделенного на секунды. Когда Джон включит зажигание, сердце выскочит у него из груди... Не нужно лететь до границы. Ракеты бьют на восемьсот километров. Все произойдет где-то далеко впереди. Ответный удар тоже сделает за спиной. Может, контрудара не ждать! Врезаться в землю! Или сделать это сейчас! А Дин! Надо же за него отомстить!

Руки на штурвале белеют от напряжения. Сейчас покажется последний ориентир. Второй пилот мешком валится с кресла. Лицо у него, как мел, — сдали нервы. Неудивительно, ему только двадцать два года. У него все впереди. На минуту Джон останавливается на этой мысли: как он сказал — впереди! Ни у кого ничего нет впереди. Рычаг на себя, а потом — мордой в землю.

Не спуская глаз с ориентира, Джон тянется к рычагу. И вдруг в шлемофоне:

— Отставить! Отставить!

Сквозь тысячи миль Джон узнает голос Командующего:

— Остановитесь!..

Ориентир под крылом. Весь в поту, Джон обеими руками рвет штурвал на себя, запрокидывая бомбардировщик в небо. Одеревеневшие губы едва шевелятся в ругательстве:

— Будьте вы прокляты!..

Русские расстреляли ракету над Северным Ледовитым океаном, на восемьдесят седьмой параллели.

А сержант Бирнс! Что же с ним!

Дело его закончено на выездной сессии трибунала. Сохранились протоколы — в том числе и последнего заседания — живы свидетели, которые могут подтвердить свои мысли.

Итак, обратимся к судебным записям.

— Последнее слово предоставляется подсудимому.

Бирнс встает со скамьи.

— Господа судьи! — лицо его, похожее на румяный ранет, безоблачно. Даже прыщик над переносицей не портит его сияния. — Я рад, господа, — говорит он, — что все кончилось без последствий... — «Чтоб ты пропал...» — думает, глядя на Бирнса, Маккинли, больше всех, после Дэвидса, пострадавший в этой истории, — Дэвидс сошел с ума... «Скотина... — так же мысленно ругает Бирнса Командующий. — Розовая свинья!»

— Виноватым я себя не считаю, — продолжал между тем Бирнс. — Разве это ви-

на — съесть апельсин! Едят апельсины негры и пуэрториканцы, министры и Президент. Даже вы, господин главный судья...

Судья Уэлч выпрямляется за столом: за тридцать лет судейской карьеры он впервые жалеет, что закон предоставляет дуракам последнее слово.

— Не виновен! — со святой убежденностью говорит Бирнс.

Суд уходит на совещание и после непродолжительных прений выносит Бирнсу оправдательный приговор. В самом деле: какое здесь преступление — съесть апельсин!.. Другое дело — не ронять изо рта косточек. Но это относится к области этики и семейного воспитания. За Бирнсом надо было присматривать в детстве, почаще сечь.

Кое-кто из судей предлагал высечь Бирнса теперь, — хотя бы тайком. Но, увы, закон не разрешал даже этого.

(Окончание. Начало на стр. 69.)

Сергеев М. Ангара» в будущем году.—«Вост.-Сиб. правда», 1963, 22 ноября.

Четыре эксперимента. (Интервью с редактором альманаха «Ангара» М. Д. Сергеевым.) — «Советская молодежь», 1964, 19 марта.

Громова А. Два уровня, а должен быть один — высокий! (Заметки об альманах «Ангара» и «Кубань».) — Советская Россия», 1964, 2 апреля.

Боннер А. Обсуждается альманах «Ангара» (читательская конференция в Научной библиотеке Ирк. гос. ун-та).— «Вост.-Сиб. правда», 1964, 10 апреля.

Золотарева Н. «Ангара» № 1 (1964 г.). — «Вост.-Сиб. правда, 1964, 9 июня.

Шугаев В. —Фарватер «Ангары», (Заметки о втором номере альманаха «Ангара» 1965 г.)—«Вост.-Сиб. правда», 1964, 12 сентября.

Матханова Н. Триста страниц о Сибири (альманах «Ангара»).— «Вост-Сиб. правда», 1964, 17 декабря.

«Ангара» в Забайкалье (№ 1 за 1965 г.).—«Забайкальский рабочий», 1965, 30 марта.

Дубовцева И. На подступах к главному. (О новой книге «Ангара».)— «Вост.-Сиб. правда», 1965, 13 июня.

Жигулев В. Половина пути. (Заметки об альманахе «Ангара».)—Советская молодежь». 1965, 27 июня.

Сергеев М. Будет ли «Ангара» журналом?— «Советская молодежь», 1965, 31 октября.

Глинкин П. Поиск в минувшем. («Ангара» № 1, 2 за 1965 г.)—«Сибирские огни», 1966, № 1.

Матханова Н. Исток «Ангары»— современность. (№ 3 и 4 за 1965 г.)— «Вост.-Сиб. правда», 1966, 12 января.

«Ангара» № 1 (за 1966 г.)—«Забайкальский рабочий», 1966, 15 мая.

Ротенфельд Б. Ряды сомкнула проза... («Ангара» № 2 за 1966 г.)—«Советская молодежь», 1966, 19 августа.

Сергеев М. На пути к журналу (Об альманахе «Ангара»).—«Вост.-Сиб. правда», 1966, 29 октября.

Иоффе С. Находки и просчеты. («Ангара» № 3 за 1966 г.)—«Советская молодежь», 1966, 5 декабря.

Мутин В. «Ангара» провинциальная». (№ 3 за 1967 г.)—«Знамя коммунизма», 1967, 7 августа.

Иоффе С. «Ангара». Глубины и мели. (№ 4 за 1967 г.) —«Вост.-Сиб. правда», 1967, 19 октября.

Фанова Т. Новая книжка «Ангары». (№ 4 за 1967 г.)—«Советская молодежь», 26 октября.

Альманах «Ангара» (обзор).—«Маяк коммунизма», 1967, 14 ноября.

Мутин В. «Ангара» и ее авторы. (Обзор альманаха за 10 лет. Прошлое и будущее альманаха.).—«Знамя коммунизма», 1967, 1 декабря.

Иоффе С. Глубины и мели. («Ангара» № 4 за 1967 г.)—«Заря коммунизма», 1967, 15 декабря.

Синайский Л. «Ангара» № 6. (1967 г.)—«Советская молодежь», 1968, 20 января.

Рубанович А. С любовью к людям. («Ангара», 1967 г.)—«Вост.-Сиб. правда», 1968, 27 января.

Кобенков А. Хороший год «Ангары». (№ 6 за 1967 г.)—«Знамя коммунизма», 1968, 2 февраля.

Составил П. П. Боровский

Станислав ЛЕМ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЙОНА ТИХОГО

Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его в водоворот за борт, чтобы помчался он в черную даль, хотя вовсе не рассчитываю на то, что кто-нибудь его найдет, Navigare necesse estu[1], но, видимо, это чрезмерно долгое путешествие исчерпало даже мою сопротивляемость. Лечу и лечу долгие годы, а конца этому не видно. Хуже того — время путается, пересекается, я проникаюсь в какие-то внекалендарные разветвления и затоны, не поймешь — не то это будущее, не то прошлое, хотя иной раз попахивает средневековьем.

Существует особый метод спасения рассудка в излишнем одиночестве, разработанный моим дедом Косьмой; состоит он в выдумывании для себя определенного количества компаньонов, даже обоих полов, но потом уже надо последовательно придерживаться своего вымысла. Этим методом пользовался и мой отец, однако это довольно рискованно. В здешней тишине эти компаньоны становятся слишком самостоятельными, начинаются всякие осложнения, некоторые посягали на мою жизнь, я вынужден был защищаться, каюта превратилась прямо-таки в поле боя, а прекратить применение метода я не мог, ибо соблюдал лояльность по отношению к деду. Слава богу, они пали в бою, и теперь я могу немного отдохнуть.

Примусь я, пожалуй, как давно уже собирался, за изложение истории рода Тихих, чтобы там, в минувших поколениях, набраться сил, подобно Антею.

Основоположником главной ветви Тихих был Анонимус, окутанный тайной, теснейшим образом связанной со знаменитым парадоксом Эйнштейна о близнецах, из которых один летит в космос, а другой остается на Земле, после чего вернувшийся оказывается младше того, кто оставался. Когда предприняли первый эксперимент, чтобы разрешить этот парадокс, два молодых человека, Каспар и Езекииль, вызвались в качестве добровольцев. Вследствие суматохи при старте их обоих посадили в ракету. Эксперимент, таким образом, сорвался, и хуже того — ракета вернулась через год лишь с одним близнецом. Он заявил в глубокой скорби, что брат слишком далеко высунулся из ракеты, когда они пролетали над Юпитером. Этим полным боли словам не поверили и под аккомпанемент ожесточенной газетной травли обвинили его в братоедстве. Вещественным доказательством служила обвинению найденная в ракете поваренная книга, в которой глава «О засолке мяса в пустоте» была обведена красным. Нашелся, однако же, человек и благородный и рассудительный, который стал защитником близнеца. Посоветовал он, чтобы обвиняемый рта не раскрывал во время процесса, независимо от того, что там будет твориться. Ибо суд, даже при наличии злой воли, не мог вынести обвинительный приговор моему предку, поскольку в тексте приговора должно фигурировать имя обвиняемого. По-разному говорят об этом старые хроники: одни утверждают, что он и раньше назывался Тихим, другие — что это прозвище дали ему за упорное молчание, ибо он сохранял инкогнито до самой смерти.

Судьбе этого моего предка нельзя позавидовать. Клеветники и лгуны, которых всегда хватает, утверждали, будто во время судебного разбирательства он облизывался каждый раз, когда упо-

[1] Плыть мне должно (лат.).

минали имя брата, и ничуть их не смущало при этом, что неизвестно было, кто же тут чей брат. О дальнейшей жизни этого своего пращура я знаю мало. Было у него восемнадцать детей, и всякого он навидался — некоторое время даже торговал вразнос детскими скафандрами.

Под старость он сделался доработчиком окончаний к литературным произведениям. Профессия это малоизвестная, а потому следует объяснить, что состоит она в исполнении желаний, выражаемых любителями романов и пьес. Доработчик, приняв заказ, должен вжиться в атмосферу, в стиль и дух произведения, которому придаст эпилог, отличающийся от авторского. В семейных архивах сохранились некоторые черновики, свидетельствующие о том, какими незаурядными способностями был наделен первый Тихий. Есть там версии «Отелло», в которых Дездемона душит мавра, а есть такие, где они втроем с Яго живут себе в добром согласии. Есть варианты дантова ада, где особым мучениям подвергаются те люди, каких назвал заказчик. Первым редко приходилось заменять трагические финалы счастливыми, чаще бывало наоборот. Богачи-гурманы заказывали моему предку эпилоги, в которых добродетель не удавалось спасти, а наоборот, торжествовал порок. Эти богатые заказчики наверняка руководствовались низкими намерениями, однако же прапрадед мой, выполняя то, что ему заказано, создавал прямо-таки мастерские вещицы, а к тому же вроде бы и неумышленно больше приближался к правде жизни, чем авторы произведений. Да и в конце концов приходилось ему заботиться о пропитании многочисленного семейства, поэтому делал то, что умел, раз навсегда возымев отвращение к космонавтике (что нетрудно понять).

От него повелись в роду нашем люди особого склада — талантливые, сосредоточенные, с оригинальным умом, часто даже склонные к чудачествам, упорные в достижении раз намеченной цели. В семейном архиве хранится множество документов, подтверждающих эти характерные черты.

Кажется, одна из побочных линий рода Тихих обитала в Австрии, а точнее говоря, в некогда существовавшей австро-венгерской монархии, ибо среди страниц древнейшей хроники нашел я выцветшую фотографию красивого юноши в кирасирском мундире с моноклем и подкрученными усиками, снабженную надписью на обороте: «Киберлейтенант Адальберт Тихий». О деяниях сего лейтенанта ничего я не знаю, кроме того, что — как предтеча технической микроминиатюризации во времена, когда она никому и во сне не снилась, — выдвинул он проект пересадки кирасиров с коней на пони.

Гораздо больше сохранилось материалов, касающихся Эстебана Франциска Тихого, блестящего мыслителя, который — будучи несчастливым в личной жизни — жаждал изменить климат Земли, посыпая полярные области порошком сажи. Зачерненный снег должен был растаять, поглощая солнечные лучи; освобожденные же таким образом ото льдов просторы Гренландии и Антарктиды мечтал этот мой прадед превратить в нечто вроде рая для человечества. Поскольку не нашел он сторонников своего плана, начал на свой страх и риск накапливать запасы сажи, что привело к супружеским раздорам, закончившимся разводом. Вторая его жена, Эвридика, была дочерью аптекаря, который за спиной зятя выносил сажу из подвалов и продавал ее как лечебный уголь (Carbo animalis). Когда аптекаря разоблачили, ни о чем не подозревающий Эстебан Франциск был также обвинен в подделке лекарств и поплатился за это конфискацией всего запаса сажи, накопленного в подвалах усадьбы за долгие годы. Глубоко разочаровавшись в людях, несчастный преждевременно умер. Единственной его утехой в последние месяцы жизни было посыпать сажей заснеженный садик и наблюдать за оттепелью, которая от этой процедуры начиналась. Дед мой поставил ему в садике небольшой монумент с соответствующей надписью.

Дед этот, Иеремия Тихий, является одним из самых выдающихся представителей нашего рода. Воспитывался он в доме старшего брата Мельхиора, известного своей набожностью кибернетика и изобретателя. Не отличаясь особо радикальными взглядами, Мельхиор не стремился целиком автоматизировать богослужение, а хотел только прийти на

помощь самым широким массам духовенства; поэтому сконструировал он несколько надежных, быстродействующих и удобных в обращении устройств, как-то анафематор, отлучатель, а также специальный аппарат для проклятий с обратным ходом (чтобы их можно было отменить). Работы его, к сожалению, не нашли признания у тех, для кого он трудился, и более того, их осудили как еретические. Со свойственным ему великодушием Иеремия предоставил тогда местному приходскому священнику образец отлучателя, давая тем самым возможность испробовать его на самом себе. К сожалению, даже в этом ему было отказано. Опечаленный, разочарованный, он отказался от дальнейших работ в этом направлении и переметнулся — лишь в качестве конструктора — в сферу восточных религий. Еще и сейчас пользуются известностью электрифицированные им буддийские молитвенные колеса, особенно сверхскоростные модели, достигающие восемнадцать тысяч молитв в минуту.

Иеремия, в противоположность Мельхиору, ничуть не был склонен к примиренчеству. Не окончив школы, он продолжал обучение дома, по преимуществу в подвале, которому суждено было сыграть в его жизни весьма значительную роль. Отличительной чертой Иеремии была прямо-таки необычная последовательность. Девяти лет от роду решил он создать Общую Теорию Всего, и ничто его от этого не удержало. Значительные трудности с формулированием мысли, которые он испытывал с самых юных лет, возросли в результате несчастного случая на улице (дорожный каток сплющил ему голову). Но даже увечье не отвратило Иеремию от философии: решил он стать Демосфеном мысли или скорее ее Стефенсоном ибо подобно тому, как изобретатель локомотива, сам не очень-то быстро передвигаясь, вознамерился принудить пар к вращению колес, так и он хотел принудить энергию электронов к движению идей.

Мысль эту часто искажают, утверждая, что Иеремия Тихий проповедовал избиение электронных мозгов. Его лозунг, согласно этим клеветническим вымыслам, якобы звучал так: «ЭНИАКам — по морде!» Это — недостойное искажение его мысли: попросту имел он несчастье выступить со своими концепциями раньше времени.

Иеремия немало всего натерпелся. Малевали на стенах его дома оскорбительные прозвища вроде «мозгодава» или «электроновала»; соседи писали на него доносы, что он нарушает ночную тишину криками и ругательствами, доносящимися из подвала, и осмеливались даже утверждать, будто он посягал на жизнь их детей, рассыпая всюду отравленные конфеты. Иеремия и вправду, подобно Аристотелю, не любил детей, но конфеты были предназначены для галок, опустошающих сад, о чем свидетельствовали сделанные на них надписи. Что же касается так называемых богохульств, которым он якобы обучал свои аппараты, то это были лишь возгласы разочарования, вырывавшиеся у него во время изнурительной лабораторной работы, когда ее результаты оказывались ничтожными.

Безусловно, было с его стороны неосторожностью применять в брошюрах (которые он издавал за собственный счет) грубоватые термины, даже простонародные, поскольку такие выражения, как «трахнуть по лампе», «дать пинка», «гвоздануть», попадаясь в контексте рассуждений об электронных машинах, легко могли сбить читателя с толку. Единственно также из духа противоречия — в этом я уверен, — рассказывал он мистификаторскую побасенку, будто без хорошей дубинки никогда не принимался за программирование.

Иеремия отличался эксцентричностью, которая не облегчала его взаимоотношений с окружающими: не всякий мог оценить по достоинству его шутки (отсюда и возникло, например, дело о молочнике и обоих почтальонах, которые наверняка и без того свихнулись бы изза наследственного отягощения, тем более, что скелеты были на колесиках, а яма не достигала и двух с половиной метров глубины). Кто способен, однако же, постичь извилистые пути гения! Говорили, будто Иеремия разорился, скупая электронные мозги для того, чтобы разбивать их вдребезги, и что груды обломков громоздились у него на подворье. Но разве виноват он был, что тогдашние электронные мозги, слишком

ограниченные и недостаточно выносливые, не могли справиться с поставленными перед ними задачами! Если б они не разваливались так легко, Иеремия наверняка довел бы их в конце концов до создания Общей Теории Всего. Неудача ни в коей мере не дискредитирует его основной идеи.

Что касается семейных осложнений, то женщина, на которой женился Иеремия, находилась под сильным влиянием враждебно настроенных по отношению к нему соседей, которые склонили ее к даче ложных показаний; да и вообще — электрические шоки очень полезны для формирования характера.

Чувствовал он себя одиноким и осмеянным также из-за тупоголовых специалистов вроде профессора Бруммберга, который назвал его электронным палачом за то, что Иеремия однажды употребил тиски не по назначению. Бруммберг был злюка и человек нестоящий, однако же за мгновение праведного гнева Иеремия поплатился четырехлетним перерывом в научной работе. И все это потому, что он не добился успеха. Ибо кто стал бы тогда интересоваться несовершенством его манер, поведения, образа жизни! Кто станет сплетничать о частной жизни Ньютона или Архимеда! К сожалению, Иеремия был преждевременным предтечей, и ему пришлось за это расплачиваться.

Под конец жизни, точнее на склоне лет, претерпел Иеремия поразительную метаморфозу, которая совершенно изменила его судьбу. А именно, наглухо запершись в своем подвале, из которого предварительно убрал все до одного обломки аппаратов так, что остался в пустых стенах, если не считать сбитого из досок лежака, табуретки да старой железной шины, он уж до самой смерти не оставил своего убежища — либо, может, добровольной темницы.

Была ли это темница! Был ли его поступок лишь бегством от мира, отступлением отчаявшегося, стремлением скрыться в существовании умертвляющего плоть пустынника! Факты явно противоречат такому предположению. Не в тихих раздумьях проводил время Иеремия, добровольно приняв затворничество. Через маленькое оконце в дверях подвала, кроме скудной порции хлеба и воды, подавали ему такие предметы, которых он требовал, — а требовал он все эти шестнадцать лет одно и то же: молотки различной формы и тяжести. Использовал он их всего три тысячи двести девятнадцать штук, а когда великое сердце перестало биться, нашли в подвале разбросанные по углам сотни и тысячи проржавевших, сплющенных от неимоверного труда обухов. К тому же днем и ночью из подвала доносились звенящие удары, смолкая, лишь когда добровольный узник подкреплял изнуренное тело либо после недолгого сна вносил в дневник записи, которые лежат сейчас передо мной. Видно из них, что дух его не изменился, наоборот, более чем когда-либо собранный, сосредоточился он на новой цели. «Уж я с ней справлюсь!», «Уж я ее доведу до точки!», «Еще немножко, и я ее прикончу!» — такими заметками, набросанными характерным неразборчивым почерком, заполнены эти толстые тетради, усеянные металлическими опилками. С кем он хотел справиться, кого собирался прикончить! Тайну эту нельзя разгадать, поскольку ни разу не было произнесено имя столь же загадочной, сколь, по-видимому, и мощной его противницы.

Я представляю себе, что решил он во внезапном озарении, которое нередко посещает великие души, совершить на самом высоком уровне то, за что ранее принимался в гораздо более скромной форме. Тогда он ставил некоторые устройства в принудительные ситуации и наказывал их, чтобы добиться своего. Теперь же гордый старец добровольным заточением отгородился от своры низменных критиканов и через двери подвала вошел в историю, ибо — такова моя гипотеза — схватился с противницей, самой могучей из всех возможных: за все шестнадцать труженических лет ни на миг не покидало его сознание, что он штурмует суть бытия, — словом, что без колебаний, сомнений и жалости неустанно бьет материю!!

С какой же целью он это делал! О, это ничуть не походило на поступок некоего монарха древних времен, который велел высечь море, поглотившее его корабли. Провижу я в этом сизифовом труде, проводившемся с таким героизмом, идею более чем поразительную. Будущие поколения поймут:

Иеремия бил во имя человечества. Хотел он довести материю до предела, замучить ее, выбить из нее суть и таким образом победить. Что должно было тогда наступить? Полнейшая анархия, физическое беззаконие? Или же возникновение новых законов? Это нам неизвестно. Узнают об этом когда-нибудь те, которые пойдут по стопам Иеремии.

Охотно закончил бы я на этом его историю, но как тут не добавить, что клеветники и далее плели немыслимый вздор, будто бы Иеремия укрывался в подвале от жены или кредиторов! Вот так отплачивает мир необычным людям за их величие!

Следующий, о ком говорится в записках, был Игорь Себастиан Тихий, сын Иеремии, аскет и кибермистик. На нем оканчивается земная ветвь нашего рода, ибо с той поры все потомки Анонимуса отправлялись в Галактику. Игорь Себастиан был натурой созерцательной и лишь потому, а не вследствие недоразвития, в котором его ложно обвиняли, заговорил впервые на одиннадцатом году жизни. Как всякий истинный мыслитель-реформатор, он критическим взглядом заново окинул человека и, поступив так, пришел к убеждению, что источником зла являются существующие в нас пережитки звериного, губительные и для индивидуума и для общества. В том, что он противопоставил мрак инстинктов ясности духа, не было еще ничего нового, но Игорь Себастиан ступил шагом далее, нежели отваживались его предшественники. «Человек, — сказал он себе — должен вступить духом туда, где ранее властвовало лишь тело!»

Будучи необычайно одаренным стерохимиком, он после долгих лет поисков создал в реторте субстанцию, которая превратила мечты в реальность.

Я говорю, разумеется, о знаменитом прикране, пентазолидиновой производной двуаллилоортапентанопергидрофенантрена. Микроскопическая доза прикрана, безвредного для здоровья, приводит к тому, что акт оплодотворения становится, в противоположность прежнему, крайне неприятным. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир взором, незамутненным вожделениями, подмечает истинную иерархию явлений, ибо не слепнет ежечасно от животных влечений. Выигрывает он на этом массу времени и, вызволенный из плена плоти, созданного эволюцией, сбрасывает оковы сексуального отчуждения и становится наконец свободным. А продолжение рода должно ведь быть результатом сознательного решения, принятого из чувства долга перед человечеством, но не автоматическим и случайным результатом удовлетворения непристойных желаний.

Намеревался вначале Игорь Себастиан сделать акт телесного совокупления нейтральным, решил, однако же, что этого будет недостаточно, ибо слишком многое делает человек даже не удовольствия ради, а просто со скуки либо по привычке. Акт этот должен был отныне стать жертвой на алтарь общественной пользы, мукой, добровольно принятой, и каждый плодящийся, благодаря проявленной отваге, включался в ряды героев, как все, кто жертвует собой для других.

Как истинный исследователь испробовал Игорь Себастиан действие прикрана сначала на самом себе, а чтобы доказать, что и после больших его доз можно иметь потомство, без устали, с величайшим самоотвержением наплодил тринадцать детей. Жена его, говорят, не единожды сбегала из дому; кроется в этих случаях крупица истины, однако же главной причиной супружеских раздоров были, как и при жизни Иеремии, соседи, которые подстрекали не очень-то смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастиана в издевательстве над женой, хоть он им неоднократно объяснял, что вовсе не мучит ее, и лишь известный акт, ставший теперь источником страданий, делает его дом обиталищем криков и стонов. Но что поделаешь, тупицы твердили свое, как попугаи, — мол, отец бил электромозги, а сын бьет жену.

Был это, однако, лишь пролог трагедии, ибо когда Игорь, не сыскав сторонников, вдохновленный идеей на веки вечные очистить человека от похоти, приправил все колодцы местечка прикраном, разъяренная толпа избила его и лишила жизни актом позорного самосуда. Предчувствие опасности, которой

он подвергался, не было чуждо Игорю. Он понимал, что победа духа над телом сама собой не придет, о чем свидетельствуют многие страницы его работы, изданной посмертно на средства семьи. Писал он там, что всякая великая идея должна иметь за собой силу, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из истории, доказывающие, что лучше всех аргументов и уговоров защищает идею полиция. К сожалению, собственной полиции он не имел, а потому и кончил так грустно.

Нашлись, разумеется, клеветники, которые утверждали, что отец был садистом, а сын — мазохистом. В этом оговоре нет ни словечка истины. Хотя придется коснуться щекотливых вопросов, я должен это сделать, чтобы уберечь доброе имя нашей семьи от позора. Игорь не был мазохистом: несмотря на самоотречение, вынужден он был нередко прибегать к физической помощи преданных кузенов, которые, особенно после больших доз прикрана, придерживали его на супружеском ложе, откуда он, сделав дело, бежал, как ошпаренный.

Сыновья Игоря не продолжали отцовского дела. Старший некоторое время занимался синтезом эктоплазмы, субстанции, хорошо знакомой спиритам (ее выделяют медиумы в трансе), но это у него не получилось, потому что, как он утверждал, маргарин, служащий исходным сырьем, был плохо очищен. Младший был выродком в семье. Купили ему билет на корабль, идущий к звезде Мира Цети, которая вскоре после его прибытия погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно.

Одним из первых — после стопятидесятилетнего перерыва — космонавтов, или, как уже тогда говорили, космонаров, в нашей семье был прадядя Пафнутий. Этот владелец звездного парома в одном из небольших галактических проливов перевез своим суденышком неисчислимое множество путешественников. Вел он тихую и мирную жизнь среди звезд, в противоположность брату своему, Эвзебию, который сделался корсаром, впрочем, уже в довольно солидном возрасте. Весельчак по натуре, отличающийся великолепным чувством юмора, Эвзебий, которого вся его команда звала «практическим шутником», залеплял звезды сапожной смолой и разбрасывал по Млечному Пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов; на сбившиеся же с курса ракеты он нападал и грабил пассажиров. Потом, однако же, отдавал ограбленным все обратно, приказывал лететь дальше, снова догонял их на своем черном ракетнике, шел на абордаж и грабил заново, бывало, по шесть, а то и по девять раз подряд. Пассажиры света не видели от синяков.

И все же не был Эвзебий извергом. Попросту годами подкарауливая на звездных перекрестках корабли, он ужасно скучал и, уж, если кто-нибудь наконец попадался, Эвзебий прямо не в состоянии был расстаться со своей жертвой сразу по окончании грабежа. Как известно, межзвездное корсарство с точки зрения финансовой не окупается, о чем лучше всего свидетельствует то, что оно практически не существует. Эвзебий Тихий действовал не из низких материальных побуждений, наоборот, вдохновлялся он древними идеалами, ибо стремился возродить достопочтенную земную традицию морского пиратства, считая это своим предназначением. Обвиняли его во многих отвратительных склонностях: нашлись и такие, что звали его некрофилом, поскольку корабль его был окружен многочисленными останками космонаров. Нет ничего более ложного, чем эти морские оговоры. В пустоте попросту невозможно похоронить безвременно усопшего, и нет иного выхода, как вытолкнуть его через люк ракеты; то же, что он не отходит от ракеты, но кружит около осиротевшего корабля, объясняется законами ньютоновской механики, а не чьими-то извращенными вкусами. С течением времени количество тел, окружающих корабль этого моего родственника, действительно порядком возросло: маневрируя, он двигался якобы в ореоле смерти, прямо как на гравюрах Дюрера; но, повторяю, творилось это не по его воле, а согласно законам природы.

Племянник Эвзебия и мой кузен Аристарх Феликс Тихий сосредоточил в себе самые ценные дарования, дотоле проявлявшиеся в нашей семье порознь. Он же, единственный из всех, добился

успеха и прочного благосостояния, благодаря гастрономической инженерии, именуемой также гастронавтикой, которую он блестяще развил.

Начатки этой отрасли техники относятся еще к концу XX века, но тогда была она известна в грубом и примитивном облике так называемой каннибализации ракет. Чтобы сэкономить материалы и место, начали применять для изготовления ракетных переборок и перегородок прессованные пищевые концентраты: крупяные, мучные, бобовые и тому подобное. Позже расширили сферу этой конструкторской деятельности, охватили ею также меблировку ракеты. Кузен мой лапидарно оценил качество тогдашней продукции, сказав, что на вкусном стуле не усидишь, а удобный вызывает несварение желудка.

Аристарх Феликс подошел к этому делу совершенно по-новому. Не удивительно, что первую свою трехступенчатую ракету (Закуска-Жаркое-Десерт) Объединенная Альдебаранская Верфь назвала его именем.

Теперь никого уже не удивляют распределительные щиты на сдобной основе (так называемые электропесочники), слоеные конденсаторы, макаронная изоляция, пряникоиды (катушки из миндаля с медом, который хорошо проводит ток), наконец, окна из бронированного сахара; хотя, конечно, не всякому нравятся костюмы из яичницы или, к примеру, подушки из бисквита с орехами либо из сдобы (из-за крошек в постели). Все это — дело рук моего кузена. Это он изобрел буксирные тросы-колбасницы, струдельные покрывала, одеяла из суфле, а также лапшевоманный привод; он же первый применил швейцарский сыр для охладителей. Заменив азотную кислоту лимонной, он сделал горючее превосходным освежающим напитком (и вдобавок безалкогольным!). Отлично действуют также его огнетушители с клюквенным кисельком, они одинаково надежно спасают и от пожара, и от жажды.

Были у Аристарха последователи, но никто из них не смог с ним сравниться. Некий Глобкинс попытался ввести в обиход ромовый торт с фитилем в качестве источника освещения — он потерпел полнейшее фиаско, потому что и света этот торт давал мало и весь пропитывался копотью. Не нашлось также покупателей ни на его бифштексовые коврики для вытирания ног, ни на изоляционной пластины из халвы, которые лопались при первом же столкновении с метеорами. Это лишний раз доказывает, что мало наличия общей идеи, ибо каждое конкретное решение, с ней связанное, должно быть творческим, как, например, гениальная в своей простоте мысль моего кузена, чтобы все пустые места ракетной конструкции заполнять пустой похлебкой, благодаря чему и вакуум получается, и наесться можно.

Думаю, что этого Тихого вполне по заслугам можно было бы назвать благодеятелем космонавтики. Ее предтечи не так-то и давно, когда мы смотреть не могли на биточки из водорослей и супы из мхов и лишайников, уверяли нас, что именно на таких вот харчах человечество отправится к звездам. Благодарю покорно! Хорошо, что я дожил до лучших времен, а то ведь сколько экипажей в дни моей юности погибло с голоду, дрейфуя среди темных течений пространства и имея на выбор всего лишь систему жеребьевки либо демократические выборы обычным большинством голосов. Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний, на которых обсуждались эти неприятные вопросы. Существовал даже проект Драпплюсса, который некогда наделал немало шума, чтобы по всей солнечной системе равномерно рассеять в помощь потерпевшим крушение кашу манную либо гречневую, а также какао в порошке; но проект этот не был принят: во-первых, это обошлось бы слишком дорого, а во-вторых, из-за туч какао нельзя было бы разглядеть навигационные звезды. И лишь ракетный каннибализм освободил нас от этих проблем прошлого.

Когда вот так, по ветвям генеалогического древа, приближаюсь я, вступая в новейшие времена, к собственному появлению на свет, задача моя как хроникера нашего рода становится все более трудной. Не только потому, что обрисовать давних предков, которые вели оседлый образ жизни легче, чем их звездных потомков, но и потому, что в пустоте проявляется пока еще непо-

нятное влияние физических явлений на семейную жизнь. Чувствуя себя беспомощным перед документами, которых не могу даже как следует рассортировать, я отказываюсь от всякой попытки привести их в порядок и представлю их попросту в той очередности, в которой они сохранились. Вот страницы путевого дневника, который вел капитан звездного флота Всемир Тихий.

Запись 116 303. Сколько уж лет живем мы без тяготения! Песочные часы не действуют, маятниковые остановились, в заводных отказывают пружины. Некоторое время мы наудачу срывали листки календаря, но и это уже в прошлом. Единственными вехами остались у нас завтраки, обеды и ужины, но первое же расстройство пищеварения может совершенно уничтожить и этот счет времени. Приходится прервать запись: кто-то вошел — не то близнецы, не то это интерференция света.

Запись 116 304. По бакборту планета, не обозначенная на картах. Несколько позже, во время полдника, метеор, к счастью, маленький, пробил три камеры — барокамеру, камеру заключения и вытрезвительную. Велел зацементировать. За ужином отсутствует кузен Патриций. Разговор с дедом Арабеусом о соотношении неопределенности. Что же мы, собственно, знаем наверняка? Что мы в молодости отправились с Земли, что корабль свой назвали «Космонистом», что дед и бабка взяли на палубу еще двенадцать супружеских пар, которые теперь представляют собой уже единую семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь о Патриции, и кот тоже куда-то исчез. Заметил положительное влияние отсутствия гравитации на плоскостопых.

Запись 116 305. Первенец дяди Телегия такой быстроглазый и такой еще маленький, что невооруженным глазом наблюдает нейтроны. Поиски Патриция дали негативный результат. Увеличиваем скорость. Во время маневра пересекли кормой изохрон. После ужина пришел ко мне тесть Телегия, Амфотерик, и признался, что стал собственным отцом, потому что его время захлестнулось в виде петли. Просил, чтобы я никому об этом не говорил. Я посоветовался с кузенами-физиками: они ничем помочь не могут. Кто знает, что еще ждет нас впереди!

Запись 116 306. Я заметил, что подбородки и лбы у некоторых пожилых дядюшек и тетушек отодвигаются назад. Эффект гидроскопической рецессии, укорочение Лоренца-Фитцджеральда или следствие выпадания зубов и частых ударов лбом о переборки, когда раздается звонок, приглашающий к столу! Мчимся вдоль довольно большой туманности; тетка Барабелла выворожила домашним способом, по кофейной гуще, нашу дальнейшую траекторию. Проверял расчеты на электрокалькуляторе — результат весьма приближенный!

Запись 116 307. Короткая стоянка на планете Шатунов. Четыре человека не вернулись на палубу. При старте левая дюза закупорена. Велел продуть. Бедный Патриций! В рубрике «причина смерти» я написал «рассеянность» — ведь что бы еще!

Запись 116 308. Дяде Тимотеусу снилось, что напали на нас разбиваки. К счастью, обошлось без жертв и потерь. На корабле становится тесно. Сегодня трое новорожденных и четыре переселения вследствие разводов. У первенца Телегия глаза, как звезды. Чтобы увеличить метраж, велел всем теткам, что постарше, отправиться в холодильники-гибернаторы. Подействовал лишь аргумент, что в состоянии обратимой смерти они не будут стареть. Теперь очень тихо и приятно.

Запись 116 309. Приближаемся к скорости света. Множество неизвестных феноменов. Появился новый тип элементарных частиц — шкварки. Не очень большие, слегка пригоревшие. Что-то странное творится с моей головой. Помню, что отца моего звали Барнаба, но был у меня и другой, по имени Балатон. А может, это озеро в Венгрии? Придется проверить по энциклопедии. Вижу, как младшие тетки квантово д фрагируют, не переставая при этом вязать на спицах. На третьей палубе чем-то воняет. Ребенок Телегия совсем не ползает, а летает, пользуясь попеременно то передним, то задним выхлопом. Как чудесна эта биологическая адаптация организма!

Запись 116 310. Был в лаборатории кузена Иезайи. Там не прекращается работа. Кузен сказал, что высшей фазой гастронавтики будет мебель не только съедобная, но и живая. Она не ис-

портится и не нужно будет время от времени держать ее в холодильнике. Только у кого поднимется рука, чтобы зарезать живой стул! Пока их еще нет, но Иезайя утверждает, что вскоре угостит нас холодцом из ножек. Вернувшись в рулевую рубку, долго размышлял над его словами. Он говорил о живых ракетах будущего. Можно ли будет иметь ребенка с такой ракетой! Что за мысли приходят мне в голову!

Запись 116 311. Дед Арабеус жаловался мне, что его левая нога касается Полярной звезды, а правая — Южного Креста. Кроме того, он, пожалуй, что-то замышляет, потому что все время ходит на четвереньках. Придется мне повнимательней следить за ним. Исчез Бальтазар, брат Иезайи. Неужели это квантовая дисперсия! Разыскивая его, я обнаружил, что в атомной камере полно пыли. Год не подметали! Снял с занимаемой должности камергера Бартоломея и назначил его свояка Титуса. Вечером в салоне, во время выступления тетки Мелании, внезапно взорвался дед. Я велел его зацементировать. Сделал я это чисто рефлекторно. Не отменил приказа, чтобы не поставить под сомнение свой авторитет капитана. Очень мне не хватает деда. Что это было, гнев или аннигиляция! Он всегда был нервный. Захотелось мне во время вахты чего-нибудь мясного, и я съел кусочек мороженой телятины из холодильника. Вчера оказалось, что пропал листочек, где была записана цель путешествия; жаль, ведь летим мы уже примерно лет тридцать шесть. В телятине, странное дело, было полным полно дроби — с каких это пор в телят стреляют из дробовиков! Рядом с нами летит метеор, на котором кто-то сидит. Это Бартоломей первый его заметил. Я пока делаю вид, что не замечаю.

Запись 116 312. Кузен Бруно утверждает, что это был не простой холодильник, а гибернатор, что он сам для смеху перевесил таблички и что это была не дробь, а бусы. Я подскочил до потолка; в безгравитационном пространстве никакие сцены не получаются — ни ногой топнуть, ни кулаком по столу ударить нельзя. Напрасно я этого Бруно взял к звездам. Направил его на самую черную работу — на корму распутывать пряжу.

Запись 116 313. Космос поглощает нас. Вчера оторвало часть кормы с туалетами. Был там как раз дядя Палександр. Бессильный, смотрел я, как он тает во мраке, а развевающиеся ленты туалетной бумаги тоскливо трепетали в пустоте. Настоящая группа Лаокоона среди звезд. Что за несчастье! Тот, что на метеоре, никакой не родственник, совершенно чужой человек. Летит, сидя верхом. Это наводит на размышления. Дошли до меня слухи, будто немало народу украдкой высадилось. Действительно становится как-то просторней. Неужели это правда!

Запись 116 314. У кузена Роланда, который ведет нашу бухгалтерию, масса затруднений. Вчера он при мне мучился, вычисляя перевезенные уже невестотонны с эйнштейновской поправкой на потерю венков. Подсчитывая, вдруг поднял голову, посмотрел мне в глаза и сказал: «Человек — как это звучит!». Эта мысль озадачила меня. Дядя Телегий закончил свою «Теорию роботов» и теперь разрабатывает новую систему — там будут особые посты или так называемые голодни и голосутки (речь идет о времени). Дед Арабеус мне не нравится. Сочиняет каламбуры. «Каламбур, — сказал он мне, — это значит, что я засоряю лес, а много детей мужского пола — это синкопы». Маленький Пызя, тот, что летает реактивно и говорит «ф» вместо «п» («фланета» вместо «планета», а зато — «планелевые штаны»), бросил — это лишь теперь выяснилось, — кота в резервуар с содой, которая поглощает у нас двуокись углерода. Бедный котик распался на двукотан соды.

Запись 116 315. Сегодня нашел у дверей младенца мужского пола с пришпиленной к пеленкам запиской: «Это твой». Ничего не знаю: неужели это стечение обстоятельств! Выстелил ему ящик старыми документами.

Запись 116 316. В космосе пропадает масса носков и носовых платков, кроме того, время совершенно распадается: я заметил за завтраком, что дед и бабка намного моложе меня. Случался неоднократно и дядедиз. Велел кузену Роланду произвести переучет — гибернаторы открыты, всех размораживаю. У многих теток насморк, кашель, синие носы, распухшие красные

уши; некоторые закатили истерику. Я ничего не мог поделать. Что наиболее странно — среди воскресших оказался теленок. Зато не хватает тетки Матильды: неужели Бруно и вправду не шутил или, вернее, и вправду шутил!

Запись 116 317. Перед входом в атомную камеру есть каморка. Когда я сидел там, пришла мне в голову забавная мысль: может, мы вообще не стартовали и торчим на Земле! Но нет — ведь тяготение-то отсутствует. Это соображение успокаивает. Однако же я проверил, что держу в руке, — это был молоток. Может, меня зовут вообще-то Иеремией. Бил я по какой-то болванке, и что-то мне не по себе сделалось. Но надо привыкать. Принцип Паули, что отдельная личность может вмещать лишь одну индивидуальность, мы оставили далеко позади. Возьмем хотя бы родительскую эстафету, для нас в космосе уже привычную, когда несколько женщин по очереди рожают одного и того же ребенка (это касается также и отцов) вследствие громадной скорости. Пызя еще совсем недавно был малышом, а сегодня, когда мы с ним в столовой, одновременно потянувшись за мармеладом, стукнулись лбами, он отбросил меня под самый потолок! Хоть время и запуталось, перекрутилось, даже петлями захлестнулось, а все же — как оно летит!

Запись 116 318. Арабеус рассказывал мне сегодня, как он всегда питал тихую надежду, что звезды и ракеты имеют одну только сторону, — ту, что обращена к нам, а позади лишь пыльные стеллажи да веревки. Так вот почему он полетел к звездам! Открыл он мне также, что некоторые женщины что-то кладут в бельевые шкафы, по его мнению, не только белье, но и яйца. Это могло бы свидетельствовать о стремительном регрессе в эволюционном смысле. Ему, наверное, было неудобно вот так задирать ко мне голову со своих четверенек. Беспокоит меня его младший брат. Восьмой год стоит у меня в передней, вытянув вперед указательные пальцы. Может, у него начинается кататония! Сначала машинально, а потом по привычке начал я вешать на него пальто и шляпу. Он может, по крайней мере сказать себе, что и от него есть какая-то польза.

Запись 116 319. Становится все более пусто. Дифферакция, сублимация или попросту все переходят вследствие эффекта Допплера в инфракрасную область спектра! Орал сегодня во весь голос на средней палубе, и никто не появился, кроме тетки Клотильды со спицами и недоконченной перчаткой. Пошел в лабораторию — кузены Митрофан и Аларик, чтобы исследовать траектории шкварок, топили свиное сало и лили жир в воду. Аларик заявил мне, что в нашем положении гаданье надежней, чем камера Вильсона. Но почему, окончив расчеты, он все съел! Не понимаю, а спросить его не решился. Исчез прадядя Эмерик.

Запись 116 320. Прадядя Эмерик нашелся. Каждые две минуты он восходит с регулярностью, достойной лучшего применения, на бакборте, в верхнем оконце, видно, как он достигает зенита, после чего заходит на штирборте. Ни чуточки не изменился, даже на обороте последнего отдохновения! Но кто и когда его выпихнул! Ужасная мысль!

Запись 116 321. Дядя так регулярен, что по его восходам и заходам можно было бы секундомер отрегулировать. Что самое страшное, он начал отбивать часы. Не могу этого понять.

Запись 116 322. Он просто задевает ногами о верх корпуса в самой низкой точке своей орбиты, и края его подошв либо каблуки прыгают по головкам заклепок на броне. Сегодня после завтрака он пробил тринадцать — случай или предзнаменование! Чужой на метеоре несколько отдалился. Летит рядом с нами дальше. Сел я сегодня за стол, чтобы сделать запись, а стул говорит мне: «Как странен этот мир!». Я думал, что это успехи кузена Иезейи, но это был всего лишь дед Арабеус. Сообщил мне, что он — инвариант, то есть тот, кому все равно, так что я могу не вставать. Кричал я сегодня целый час на верхней палубе и на пандусе. Ни души нигде. Только клубки шерсти и спицы летали да пара карточных колод для пасьянса.

Запись 116 323. Существует особый метод, чтобы сохранить душевное равновесие, выдумывают разных несуществующих людей. Что, если я это делаю уже давно подсознательным путем! Но

как давно! Сижу на упорно молчащем Арабеусе с хнычущим ребенком в ящике — я назвал мальчика Ийоном — кормлю его из бутылочки, тревожась, где ж я теперь найду ему жену: пока еще время вроде есть, но в этих условиях ничего не известно. Сижу вот так и лечу...

Это последние слова моего отца, записанные в дневнике, — остальные страницы отсутствуют. Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, то есть он, сидел в ракете и летел. Итак, он сидел и летел, и я тоже сижу и лечу. Так что же, собственно, сидит и летит? Неужели меня вообще нет? Но корабельный дневник сам себя читать не может. Значит, я все же существую, поскольку читаю его. А может, все это подстроено? Вымышлено? Странные мысли...

Допустим, что он не сидел и не летел, однако я далее сижу, летя, то есть лечу сидя. Это несомненно. В самом ли деле? Самое несомненное, что я читаю о том, кто летит и сидит. Что же касается моего сиденья и полета, то как я могу в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого, это скорей каморка. Наверное, в межпалубном пространстве, но на чердаке у нас была точь-в-точь такая. Достаточно однако же выйти за порог, чтобы проверить, не иллюзия ли это. Ну, а если это иллюзия и если она продолжится за порогом? И нет ничего решающего? Этого быть не может! Потому что, если б дело обстояло так, что я не лечу и не сижу, а только читаю о том, что он летел и сидел, причем на деле и он не летел, то это означало бы, что я через свою иллюзию познаю его иллюзию или же мне кажется, что ему кажется. Или, может, мне кажется то, что ему представляется? Иллюзия в иллюзии? Допустим — но он ведь писал еще о том, который летит, сидя верхом на метеоре. С ним-то получается, пожалуй, совсем плохо. Мне кажется, что ему казалось, что тот сидит верхом, а если и тому тоже лишь казалось, то уж совсем ничего не известно.

Голова у меня разболелась, и опять, как вчера и позавчера, приходится думать о жандармах и о синих носах, о васильковых глазах, о голубом Дунае и фиолетовой телятине. Почему? И я знаю, что в полночь, когда начну ускорение, буду думать о яичнице, точнее о глазунье с большими желтками, о моркови, меде и о пятках тети Марины, так же, как всегда в полночь... Ах! Понимаю! Это же передвижение мысли то в ультрафиолетовую область спектра, то из-за разлития желчи в инфракрасную, то есть психический эффект Допплера! Это очень важно! Ведь это могло бы служить доказательством, что я лечу! Доказательство движением: demonstratio ex motu, как говорили схоластики! Значит, я и вправду лечу...

Да. Но ведь любому могут прийти в голову яйца, пятки и жандарм. Это не точное доказательство, а лишь предположение. Что же тогда остается? Солипсизм? Существую лишь я сам, никуда не летя... Но это означало бы, что не существовал ни Анонимус Тихий, ни Иеремия, ни Игорь, ни Эстебан, ни Всемир, что не было Барнабы, Эвзебия, «Космониста», что я никогда не лежал в ящике отцовского письменного стола и что отец не летел, усевшись на деде Арабеусе, — а значит, это невозможно! Что ж я из ничего вывел такую массу людей и семейных историй? Ведь ex nihilo nihil fit! А значит, семья существовала, это она помогла мне вернуть веру в мир и в этот полет мой, с неисповедимым концом! Все спасено, благодаря вам, предки мои!

Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу в водоворот за бортом, пускай плывет в черную даль ибо navigare necesse est, а я лечу и лечу долгие годы...

А. ЗВЕРЕВ

На Ангаре

Рассказ

Иных рек Гошка не знал — Ангару видел из зыбки.

События и люди, печали и песни — все спевалось с Ангарой.

В семье рассказывали о дальних далях ее, о сказочном богатыре рыбаке Макаре, о варнаках, прячущихся на островах. А Гошка знал один крутояр, видимый из окна дома, — Камчатник. К нему шли, качая удилищами, рыболовы. Туда везли полоскать белье, оттуда ехали с дровами.

Почуяв под собой бойкие ноги, Гошка убежал к тому крутояру. Кто-то из мужиков, присев перед ним, перегородил путь и за руку привел к матери. А год спустя знал он все бугорки, залавки, все затаенные уголки Камчатника. И стал он Гошке, и не только ему, местом радости, красоты и дива. Тут под крутым берегом впервые он поймал гальяна. А нынче Гошка шагал за отцом, неся на плече сети, гордо сознавая, что и он в семье работник. А случилось это так.

Раз в воскресенье семья сидела за ужином. Кому-то из братьев плыть сегодня с отцом! Сети связаны, шест и весло приготовлены. Ели молча, ждали материнского приказания.

— Собирайся, Ганя, давно не плавал, — сказала она.

Все заметили, как переменился брат. Неделю он жил на заимке, и в этот воскресный вечер не дают поплясать на полянке.

— Без Гани никуда,— возразил он подавленным голосом.

— Моя, выходит, очередь, отец, — обиженно вздохнула мать.

— А Гошка! Пусть сплавает. Не ребенок поди, — неожиданно заявил брат и покраснел.

Гошка сидел против отца, и на мгновение они встретились взглядами.

— Гошка! Да какой он гребец! Силенки-то с комара. Как ты, отец! — спросила мать.

— Попробуем, — сказал он и решил Гошкину судьбу разом и на года.

Тогда за столом Гошка даже испугался. Ночь-то темную, в тишине, в безлюдьи. Сколько ужасов и страхов он слышал о ночной рыбалке. А когда за отцом потащился к реке, словно бы повзрослел: смотрите, ровня, соседи, он на реку идет. Не баловаться с гальянами, на правдашнюю рыбалку. По тому, как тяготились ночной рыбалкой взрослые, он понял, что ночь будет трудной. А ведь мог бы Гошка слезу пустить и вызвать у матери жалость. Она и без того умиленно глядела на Гошку, подсовывая мягкие портяночки, кладя в чирки свежие соломенные стельки. Но в семье жила строгость, и возражать было не принято.

— С богом, — сказала мать, выйдя за ворота, и все стояла, пока рыбаки не скрылись за углом.

Из села доносится скрип колодцев, мычание коров, возня и писк мальчишек на горке. Гошку охватывает тоска и покинутость, так бы вот и убежал домой. Гошка видит, как наваливаются и наваливаются с запада темные тучи, как гаснут в них последние звезды и как густеет вокруг тьма. Гошка вот-вот заплачет, у него дрогнули губы, капнула на руку первая слеза. Но слышит ласковые слова отца. Первый раз он так назвал Гошку:

— Ну давай, сынок, поплывем.

Гошка стер остывшую капельку на руке и схватился за греби, взялся цепко, готовый на что-то жертвенно страшное: а вдруг не сможет, и где-то там, во мраке, отец высадит его на берег и скажет: «Бестолочь, пошел вон!». Бестолочью и был Гошка ту ночь: он путал право и лево, не мог «табанить», мешкал и не понимал слов отца.

— Экой ты, брат... — не договаривал отец и пугал парнишку.

Гошка размахивал веслами, шумно ронял их в воду, черную, как деготь, упирался ногами в потопню и скреб, скреб, от усилий вздымаясь с сиденья. Вот шлепнулся в воду наплав, зашуршала сухая сеть, звякнул и упал в воду груз. Отец распрямился и огляделся.

— Будь ты неладный! В реку-то пошто! К берегу, к берегу! — прокричал он, а Гошка и берега не видит, не видит ничего, кроме смутной тени отца.

— Левой!

Гошка гребет верно, но сил не хватает. Отец берет в зубы тетиву и сильными рывками весла выправляет лодку.

— Это лево и есть, — гневливо, но сдержанно говорит отец.

— Ладно, тятя, — чуть слышно отвечает Гошка.

Отец тычет шестом в дно, бьет черпаком по борту, шумно ворочается в корме, наконец, командует «левой круче» и вынимает сеть. У берега поучает, постукивая грузилами.

— Верно, темно. А приглядись-ка, чернота-то эта — гора. А по ту сторону светлее, там луга. И не заноси назад , греби — сила не в руках, а в спине.

Отец разогнулся и огляделся.

— Махнем, брат, на ту сторону. Морок! Ночка-то, эх, хороша! Извилял ты всю сеть, а поймали-таки славно. Ну, отталкивайся.

Гошка гребет и задыхается и ждет, ждет того берега. А его все не видно. В лодку бьет стрежневая волна, пошатывает, постукивает. Помогает ли отцу сын, но хорошо слышит резкие толчки его весла. Чует, скоро упадут из рук свинцовые греби, в пальцах мурашки возятся. Где же ты, берег! Хватит ли сил до тебя. «Не хватит, не хватит», — скрипят греби. Гошка оглядывается и в бессилии роняет руки на колени.

— Что тако! — жестко спрашивает отец.

— Пальцы, тятя, онемели.

— Потри их, потри, сына.

«Сына», «сынок» — не бывало этого. И душа умиляется, и силы опять будто входят в Гошку. Бодрясь, он восклицает:

— Вот эта Ангара!

— Ха! Большенькая! И мы молодцы. Давай-ка эдак поставим лодку. Держи так, — и опять в воду шлепнулся наплав, неужто посреди реки! Поддерживать лодку

на тоне куда легче. Начинают одолевать думы. Они обидные. Мать спит теперь и, может, из головы вон Гошку. Ганя на полянке под ручку с девками крутится и хохочет заразительно, потом трахнется на сеновале на шубу и закоченеет. Гошка гребет и слышит мерное Ганино дыхание. Брат прижимает Гошку к себе... И зачем эти греби, молчите, греби... Все куда-то улетело, и Гошка падает, падает и вдруг толчок шестом:

— Будь ты неладный ! Ну и рыбака мать дала!

Одна минута сна, а золотая.

— Держись, Гошка, рыба большая попалась!

Гошка цепко ухватился за греби и взглядывался в темноту. Лодка вздрагивала то ли от отцовской возни, то ли от рыбы.

— Сетешка, брат, худа, не выдержит, — волнуется отец, все тише, все осторожнее выбирая сеть; велит и Гошке не грести. Что-то большое ворохнулось подле кормы, ударилось о борт, забилось так, что лодка зашаталась, глухо хряснула сеть — и отец плюхнулся в корму.

— Чтобы ее холера!.. Греби к берегу! Греби!

Гудит в руках отца шест, хлопают Гошкины греби. Они торопятся зайтись и вновь тем местом проплыть: по мысли отца, таймень устал и стоит на дне колодой, авось и зацепят. А Гошка не верит, ушла их рыба далеко и не догонишь. Плыли долго, чуткой осторожной рукой отец подергивал сеть. Наконец плюнул в воду и сел.

— Холера, убрел-таки, — досадно сказал отец, а Гошка знает — улыбается он, счастливый от встречи с большой рыбой.

— И фартовый же ты, Гошка! — воскликнул отец и нервно захохотал.

— Ушел ведь, — не понял Гошка.

— Ну и что! Главное — ловился. В том и фарт.

Перед самым рассветом наехали на задев. Наплав, как строптивый конь, вдруг захарчал, замотался, забурлил.

— Беда, брат, попали. Ведь знал же, дурень, что задев тут, а на тебе. Давай вперед во всю силу.

Взяв тетиву в зубы, он и сам, шумно дыша, загребается веслом. Гошка извивается в гребях.

— Жми, Гошка, жми! — кричит отец, не размыкая рта.

Лодка по шажку карабкается против течения. Это видно по черной тени на берегу. Заплыть же надо гораздо выше, чтобы, изловчась, выдрать из-под камня сеть.

— Ну же еще малехонько!

А Гошка потерял все силы, и руки и ноги задрожали. Так конь с большим возом — рванул в гору, понесся было и осел в половине. Изнемог Гошка, болтается в гребях, мешает отцу, а тот одно:

— Самую малость — нажми!

Потом с силой дергает тетиву, дергает еще, но сильное течение реки отбрасывает их назад. И они уже болтаются на сети.

— Ах ты, силенки-то мало. Ну, передыхай, да попробуем вдругорядь.

И в другой раз и в третий результат один.

— Дала рыбака, неладная, — ворчит отец и привязывает к тетиве весло. Оно играет на волне, а не тонет.

Наконец, вот он, желанный берег. Как палки переставляются чужие ноги. Руки не держат отцов дождевик. Гошка валится на камни и засыпает враз. А как проснулся, в глаза ударило солнце. У лодки стоит корзина рыбы.

— Фартовая же ночка, — качает отец головой и смеется, — бери рыбу и шагай домой. Посылай Ганюху, пока на заимку не уехал.. Сеть-то надо добывать,

Ноша такая, что если бы не рыба, не дотащил бы Гошка. Он переставлял корзину с плеча на плечо, поддевал на руку, заваливал на горбушку. Подходя к селу, очень хотел, чтобы его увидел кто-нибудь из товарищей.

Мать всплеснула руками и выхватила ношу.

— Беда!

— Небольшая, — по-взрослому покойно ответил Гошка. — Задели в убойной.

Ганя схватил бечевку и рысцой побежал к реке. Усталый и голодный Гошка залез на сеновал и лег, с трудом натащив на себя шубу.

Так Гошка и стал рыбаком не на один год. Зиму учится, а летом рыбачит. Не сказать, что он полюбил рыбалку, что она была его охотой. Это была трудная изнурительная работа с нездоровым дневным сном, но узнал Гошка на Ангаре многое. Узнал и сказочного богатыря Макара Зуева. А сказочен-то он был своим необыкновенным ростом. Отец перед ним казался мальчишкой, а как в лодку станет, так страхи брали, что корма зачерпнется. Был Макар ласков и добр, часто бывал пьян, ругаться не привычен и говорил таким тонюсеньким голосом, что все его богатырство шло насмарку. Первое Гошкино знакомство с Макаром состоялось в Черемуховой пади. Отец варил уху и по оплошке бросил в нее вместо соли сахару. Макар попробовал ее, спокойно отложил ложку и спросил:

— Ты, Ваня, солил уху-то!

— Солил, Макарушка, солил, — в тон ему ответил отец.

— Ну солил, так один и есть будешь, — и закатился тихим, добрым, дивно-радостным смехом, заставил и других упасть на траву и отхохотаться вдосталь.

Сетил Макар с огнем, отец без огня, и было весело смотреть на них, как на детей, с горячностью оспаривавших свой метод. Часами они просиживали у костра, рассказывая о рыбе, и ее повадках: где, какая пристаивается, в каких местах нерестится. Гошка узнал, что отец его — добрый и заботливый хозяин реки.

Есть на реке одна заветная ямка, глубокая. Звали ее Зуевская, словно по Макару. Сига в Ангаре мало, за ночь выловишь одного, а то и вовсе нет. А в ямке той двух-трех поймаешь обязательно. Сиговая уха вкусная, мясо рассыпчатое, ароматное, соблазн поймать сига большой. Приедут Макар с отцом к Черемуховым кустам.

— Ты, Макарушка, сигов-то пугал! — спрашивает отец.

— Не довелось, Ваня, а ты!

— И мне не довелось, — ответит отец. Гошка знает, какая воля понадобилась отцу, чтобы миновать то место. Он тоней доброй лишится, чтобы не подъезжать к тому месту, — так жаль ему сиговое стадо. С Макаром они, не договарива-

ясь, оберегают яму. Зато сколько гнева исторгнут, если узнают, что там сижка. Отец мало с кем вступает в перебранку, но однажды остановил на пути к реке Романа и сказал:

— Ты что один и миленький! Обожраться сигом-то хошь! Поймаем с Макаром, в той яме выкупаем — попомни.

Упоминание о Макаре заставило Романа промолчать, а отец плюнул в его сторону и ушел. Забота Гошкиного отца об Ангаре доходила до смешного. Недалеко от села была другая глубокая яма. Дно ее покрыто сплошь плитняком, и называют ту яму Каменник. Тут водился ленок. Это зимовье его и нерестилище. От ямы и идут три косых залака к берегу. Здесь и понастроили мужики длинные каменные подмостки и с них удилишками ловят рыбу. Рыболовы из нескольких деревень обсыпят берег, изловчаются друг перед другом в мастерстве, делятся мушками, червями и крючками. Поймают по одному, по два ленка, а день проведут празднично. Удастся ли еще такой воскресный день! На неделю мужики наберутся радостных воспоминаний. А ночью те же Ромка с Нефедкой проволокут по тому месту не один раз сеть-сороковку — и прощай, ленок: одних выловят, других распугают. Перед рекоставом тут нарастают обширные забереги. Отец и зачастил на них, а раз и Гошку прихватил.

— Поможешь.

Раньше всего Гошка увидел камень, этак пудов на двадцать. Ломом отец выворотил его из горы, опустил на лед, а на большее и сил не хватило. К кромке льда они расчистили дорожку, обвязали камень веревкой и — мало Гошка сил прибавил, а камень ворохнулся, чуть скользнул. По вершку, по капельке подтолкали они его к воде, и отец облегченно вздохнул.

— Ладно, ступай домой.

— А камень-то зачем! — спросил Гошка.

— Узнаешь после.

Гошка ломал голову и не мог догадаться, зачем отцу этот огромный угловатый камень и, как узнал потом, не один.

Весной Ромка и Нефедька шли с реки и чертыхались.

— Всю сеть спустили, и тетевички не осталось!

— Это в каком месте-то! — спрашивал отец.

— Да на Каменнике.

— А зимусь гора обрушилась. Должно за каменья те поцапались.

— Пропала такая тоня! Эх!

И кто не поплывет по той тоньке, всякий зацепится да так крепенько, что сеть долой. Гошка же как-то и заикнулся об отцовой затее, да тут же и испугался: попадет отцу от мужиков. Вышло наоборот, они похлопывали отца по плечу и похохатывали.

— Удумал же ты, Родионыч, удумал! Теперь хоть удочкой баловаться есть где.

По весне в речку Гуду, что впадает в Ангару, идет много рыбы. Еще и лед на ней до дна, но прососались ключи, и рыба по ним поднимается. Нарубят Нефедка с Ромкой прорубей и караулят ход рыбы. Как пойдет, сачками и начинают черпать. Не ведрами — мешками везли они рыбу и все икряную. Раз у этих прорубей и встретили они Макара с отцом.

— Вы зачем, ребятки! — тоненько спросил их Макар.

— А порыбачить, — отвечают они.

— А мы думали воровать. Тут воруют, а рыбачат на Ангаре. Подите-ка там поудьте. Харюзки на козявочку сейчас ой как славно ловятся.

— А мы тут хотим! — храбро отвечали парни.

— Ступайте и других верните, не то кишки выпотрошу за разбой. Поняли! — и Макар нависал над ними тучей, страховито шевелил плечами, и парни удалялись, грозя и матерясь, а Макар радостно подмигивал отцу.

Встречались Макар с отцом с особым удовольствием и не торопились разойтись. Оба они не курили, покусывая былинки, лежали в траве и, не спеша и чередуясь, рассказывали о реке.

— Монастырская дурит, — сообщал Макар.

Это означало, что протока с таким названием нынче полноводная.

— В ней перед бродом лег «утопленник». Поосторожней, Ваня.

Утопленник Гошку не пугает. Это тяжелое лиственничное бревно пало на дно и сетить тем местом опасно.

— Буяны нынче скупо живут, — горюет отец.

— Разорились Буяны, — поддерживает Макар.

Буяны — это десятки островов, и лежат они на мелководье. Там скапливалось множество нерестового хариуса.

— Харюзок — это неженка. Благородных кровей рыба. И откуда этого мазута поперло! Нынче на берегу ведро набрал. В Буянах аж галька черная. Рыбка-то поморщилась и ушла.

— А уснуло ее сколь! — подхватывает Макар.

— Малька по берегу белым-бело.

— Переведется рыбка, такая беда. А бывало ее — бог ты мой! — выпевает Макар и улыбнется, что-то припоминая. — Отчим меня, Ваня, заразил Ангарой. Такого, как твой Гошка. Мать умерла, и стала река матерью. И купала она меня, и качала, и сколь раз топила, да, видать, шибко я ей надобился, потому и скупой ко мне не была.

Тому и другому любо говорить о реке, как о живой. Она дарит, сердитая, ластится, сулит и отказывает. И Гошка слышит ее дыхание. Он уверен, что она всегда их видит, всюду с ними и за них, что если поймали на той стороне, это она им подучмила сплавать. А бывало, и откажет, и гневаться на нее не смей. Она по своему велению настраивает душу. В Глухой, где с быстрины вдруг попадаешь в заводь и лодку будто приморозит, — Гошке страшно. У Монастырского открываются просторы, река, делясь, далеко отталкивает гору — там Гошке покойно и радостно. Буяны рождают отвагу, может, оттого, что протоки дики, и не знаешь, в какую из них бросит твою лодку. Оттого Гошка с отцом не один раз сетью «пеленали» острова. Ашун богат запахами трав. Это широкая падь с зимовьями, полями, дикими коноплянинками. Густой запах его напомнит об усталости и поманит к отдыху. Ляжешь спать на берегу в тихую рассветную пору, а проснешься — Ашун звенит тысячами кузнечиков. Какие-то ахи радости поднимаются из трав, и жмурятся и смеются облитые солнцем цветы.

И сердце полнится ожиданием, силою роста и движения.

ОТ «СИБИРИ, КАТОРЖНОЙ» К «СИБИРИ СТРОЯЩЕЙ СОЦИАЛИЗМ»

К 85-летию со дня рождения Ис. Гольдберга.

Исааку Григорьевичу Гольдбергу (1884—1939) исполнилось бы в этом году восемьдесят пять лет. Тридцать лет уже не бьется сердце известного писателя-сибиряка, страстного патриота своей родины, беспредельно влюбленного в широкие сибирские просторы, но лучшие произведения его и сегодня находят своего читателя. Книги И. Гольдберга, издававшиеся в последние годы в Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Москве, не залеживаются на полках. Они живут полнокровной жизнью, раскрывая перед нашими современниками, по выражению критика тридцатых годов, «Сибирь каторжную, Сибирь в годы гражданской войны и Сибирь сегодняшнего дня, успешно строящую социализм»[1].

И. Гольдберг в отличие от целой когорты литераторов, рожденных Октябрем, к 1917 году был уже известным в Сибири прозаиком. И, тем не менее, подлинный расцвет творчества писателя падает на послеоктябрьский период. «В моем творчестве, — говорил И. Гольдберг на вечере, посвященном тридцатилетию его литературной деятельности в 1933 году, — эти тридцать лет работы распадаются на два неравных периода: на дореволюционный период, от которого отсеивается ряд повестей и рассказов и всего две изданные тогда книги, и на послереволюционные шестнадцать лет, давшие мне шестнадцать книг»[2].

1903 год оказался для И. Гольдберга знаменательным вдвойне: 14 октября в иркутской газете «Сибирь» опубликован его первый рассказ «Артист». К этому времени относится и первый арест юноши, снискавшего уже тогда репутацию политически неблагонадежного. Тесные контакты со многими политическими ссыльными тогдашнего Иркутска привели его в партию социалистов-революционеров и ко второму аресту в 1904 году. Третий арест в 1907 году повлек за собой более серьезные последствия: писатель был сослан на Нижнюю Тунгуску, где пробыл вплоть до 1912 года. Об этом периоде жизни И. Гольдберга много интересных архивных материалов разыскал П. Забелин, опубликовавший в прошлые годы несколько отрывков из будущей своей книги на страницах иркутских газет. Сам писатель, хорошо осознавая важность этого времени, иронически благодарил в своих литературных заметках устроителей этой ссылки — правительство Николая Романова, иркутского генерал-губернатора Селиванова.

Самым значительным событием в творческой жизни И. Гольдберга до Великой Октябрьской социалистической революции было, несомненно, издание его книги «Тунгусские рассказы» «Московским товариществом писателей» в 1914 году. Как только Гольдбергу стало известно о том, что книга принята к изданию, он спешит поделиться радостью со своим сибирским коллегою: «...получил письмо от В. Вересаева (Смидовича), редактора товарищества писателей в Москве, о принятии моих тунгусских рассказов. Таким образом, они нынче выйдут отдельным томиком». Некоторое время спустя Гольдберг уже беспокоится о том, как примут его детище: «Я в ожидании выхода в свет своей книжки «Тунгусских рассказов», издаваемых «Книгоиздательством писателей» в Москве. Корректуру я отослал им уже давно .Думаю, к новому году книжка выйдет. Вот буду смотреть — как встретят ее»[3].

Волнение писателя понять нетрудно: ведь он выносил на суд читателя десять лет своей жизни; насыщенной серьезными испытаниями на гражданскую зрелость, творчеством и беспокойными поисками своего места в борьбе за счастье простых людей.

«Тунгусские рассказы», повествую-

---

[1] «Будущая Сибирь», 1934, № 6, стр. 54.

[2] «Восточно-Сибирская правда», 19, 4 декабря.

[3]) ЦГАЛИ, ср. 14, оп. I, ед. хр. 15, л. 15 и 16.

щие о тяжелой судьбе эвенков, обреченных на вымирание в условиях царизма, были буквально выстраданы писателем-гуманистом. И это отмечалось в каждой рецензии на книгу сибирского автора. Да и в наши дни первая книга И. Гольдберга неизменно высоко оценивается: «Связь с жизнью, с интересами трудового народа привела писателя к преодолению ученичества, подражательности, — отмечает современный исследователь А. Абрамович, — к соданию произведений, составляющих неповторимую страницу в передовой русской литературе первых полутора десятилетий XX века»[1]. Правда, в свое время «король сибирских писателей» Антон Сорокин обвинил И. Гольдберга и других сибиряков ни мало ни много в эпигонстве: «Мои киргизские рассказы, — писал он в предисловии к задуманной книге, — явились первыми художественными произведениями, и созданный мною стиль стал почти шабломом бытовизме, о чем писал и М. Горь-Гребенщиков, Новоселов, Шишков, Гольдберг, Урманов, Всеволод Иванов («Голубые пески»)»[2].

Вряд ли этот упрек можно принимать всерьез. Ведь свою работу в литературе И. Гольдберг и А. Сорокин начинали одновременно, и какое-либо взаимовлияние на первом этапе их творчества было исключено. Слабость цикла «Тунгусских рассказов», как и некоторых других предоктябрьских произведений И. Гольдберга, видится в так называемом бытовизме. о чем писал и М. Горький, высоко ценивший талант нашего земляка: «Как бы это сделать, чтоб Гольдберг да и другие сибиряки с бытовизмом покончили? Быт нужно в фундамент укладывать, а не на фасад налеплять..

Шире, братики, берите — глубже заглядывайте, ведь Сибирь — страна с большими горизонтами»[3].

Неизмеримо расширились горизонты писателя после Октябрьской революции, когда И. Гольдберг порвал с партией эсеров и полностью отдался литературному творчеству. В двадцатые годы его произведения появляются в журналах «Сибирские огни», «Звезда», «Прожектор», «Красная нива» и в других периодических изданиях.

Рассказ «Человек с ружьем» (1921) открывает в творчестве И. Гольдберга новый период. С этого времени писателя надолго захватывает героика гражданской войны, борьба сибирского крестьянства против колчаковщины. Думается, что в произведениях именно этой темы ярче всего проявились индивидуальные особенности творчества писателя-сибиряка, своеобразие его дарования.

Достаточно распространенным в начале двадцатых годов было мнение о том, что существо грандиозных революционных событий следует передавать не через глубокое и разностороннее раскрытие характера человека, а через движение многомиллионной массы; отсутствие сюжета или его разорванность, фрагментарность картин были явлениями отнюдь не редкими в первых произведениях о гражданской войне. Лучшие рассказы и повести И. Гольдберга «Бабья печаль», «Наследство капитана Алешкина», «Гроб подполковника Недочетова», «Путь, не отмеченный на карте», «Сладкая полынь» и некоторые другие выгодно отличались от подобного рода книг стремлением проникнуть во внутренний мир героев, желанием передать всю гамму их настроений и чувств, строгой сюжетной организованностью материала.

Не все одинаково удавалось И. Гольдбергу даже в его лучших произведениях, не всегда он шел в своих поисках по правильному пути, но зоркий глаз художника помогал ему находить глубокий смысл в изображаемых событиях и по-своему рассказывать о них читателю. Порою это были не центральные, не узловые явления эпохи, но это были всегда интересные, волнующие, а значит, и важные проблемы рождения новой действительности.

В рассказе «Человек с ружьем» мы видим новых героев, активных борцов за дело народное: Герасима, дядю Федота и других. Эти люди отличаются

---

1) «Енисей», 1958, № 22, стр. 292.

2) Омский гос. архив, ф. 1073, оп. I, ед. хр. 227, л. 6.

3) М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, стр. 303.

от персонажей ранних произведений И. Гольдберга своим активным и действенным отношением к окружающему. Не похожи они и на партизан других писателей (например, Вс. Иванова). Герои первого рассказа Гольдберга о гражданской войне радостно и светло воспринимают жизнь, им не свойствен тяжелый и мрачный взгляд на окружающее, на их лицах светится усмешка, «глаза... заразительно искрятся задорным смехом»[1]. Товарищ Герасим повстречавшемуся в лесу мальчику Кешке «время от времени солнечно улыбался...» (стр. 232). «Человек с ружьем глядел на Кешку, и ласковая, немного растроганная улыбка засветилась на его молодом лице» (стр. 234).

В Герасиме и в других партизанах И. Гольдберга много силы, твердой уверенности в своей правоте. И совсем не случайно мальчику после встреч с красными партизанами «казалось, что вся деревня, весь мир с теми, там, откуда пришел этот человек с ружьем, такой крепкий, ладный и смешливый» (стр. 235).

Мальчик видит в добром, ласковом и сильном человеке с ружьем того, кто ему может помочь уйти из родного села, ибо не в состоянии больше Кешка наблюдать страшные издевательства над односельчанами, его охватывает жажда борьбы. «Я с вами, дяденька!... Дайте мне ружье! Я бить их пойду, дяденька!.. Возьмите меня с собой!..» (стр. 244).

И. Гольдберг не просто сообщает о решении Кешки идти с красными партизанами. Он показывает, как созревало это решение в душе мальчика. В начале рассказа крестьянскому парнишке просто нравится веселый и сильный человек с ружьем. Лютые расправы колчаковцев с близкими мальчику людьми еще больше сближают Кешку с Герасимом и рождают в мальчике «дикую радость», когда он слышит об уничтожении белых. Гибель человека с ружьем воспринимается Кешкой как величайшая трагедия, мальчик рыдает, в его «жалобном лепете и выкриках» слышится великая скорбь «за то, что багровым, кроваво-огненным полымем охвачено полнеба, полмира, за то, что в муках рождается новая жизнь, за то, что злобою и кровью пропиталась земля...» (стр. 248—249).

Как отличаются рыдания Кешки от слез его ровесника, героя раннего рассказа И. Гольдберга «Охотник», Митрошки, который вынужден в свои двенадцать лет идти в тайгу и наравне с опытными охотниками добывать пушнину. Заблудившись в лесу, мальчик в отчаянии, сквозь слезы ругается: «Черти! — пресекающимся голосом жаловался он кому-то. — Че-ерти! Войну каку-то доспели?.. Ходи тут!.. плутай...»[2].

Митрошка не видит главного виновника своих бед, ему кажутся виноватыми и товарищ по охоте, и отец, угнанный на войну, и мать, оставшаяся дома с детьми. А когда мирно уснувшего мальчика находит его спутник, он легко забывает о своих обидах.

Вряд ли Кешка когда-нибудь сможет забыть ту страшную ночь, когда погиб его друг, и тот день, когда он впервые увидел, как истязали близких ему людей колчаковцы. Жестокие испытания, которым подвергся Кешка, помогли ему распознать своего врага, понять, откуда идет столько горя. Вот почему в жалобном плаче Кешки писателю слышится скорбь людей, вынесших неимоверные муки рождения нового мира. Писатель имел все основания к тому, чтобы утверждать: «Кешка мой при всей его физической беспомощности уже на несколько голов выше героя рассказа «Охотник». И тут — особенности нового подхода моего к новой для меня тематике» (стр. 534).

Три крупных писателя-сибиряка, И. Гольдберг, В. Зазубрин и Ф. Березовский, используют родственный материал в своих произведениях о гражданской войне в Сибири. Но как различен стиль каждого из них.

Если В. Зазубрин при изображении суровой эпохи в своем романе «Два мира» чаще всего рассказывает нам о

[1]) Ис. Гольдберг. Поэма о фарфоровой чашке. Роман. Повести. Рассказы. М., «Сов. писатель», 1965, стр. 231. Далее страницы указываются в тексте по этому изданию.

[2]) «Сибирь», 1915, 22 марта, № 69.

движении массы, лишь намечая контуры героев, то Ф. Березовский склонен показывать судьбу отдельного человека, прослеживая всю историю его жизни. Такова бабка Настасья в его романе «Бабьи тропы». Гольдберг же, раскрывая характеры своих героев, шел обычно по пути озарения, высвечивания решающих моментов жизни людей. И подобный подход к раскрытию характеров персонажей оправдан идейно-художественным своеобразием рассказов и повестей И. Гольдберга о гражданской войне.

И. Гольдберг из тех художников, которые всегда и во всем ищут новые пути, новые методы изображения действительности. В постоянных поисках жил и В. Зазубрин. Но если второй чаще всего прибегал к публицистике, его авторская речь обретала пафос оратора, то И. Гольдберг охотнее использовал прием лирического повествования, отдавая решительное предпочтение эмоциональной насыщенности стиля. В этом смысле творчество И. Гольдберга необычайно ярко представляет романтическое течение в советской прозе двадцатых годов. Однако, как отмечала в своем интересном исследовании Л. П. Егорова относительно прозы Вс. Иванова и Б. Лавренева, «...романтическое пересоздание жизни... не было абстрагировано от потока жизни, несло яркий отпечаток местного и исторического колорита»[1].

И еще одно немаловажное качество отличает художественный почерк И. Гольдберга—серьезный интерес к внутреннему миру человека. Позднее, правда, писатель говорил о путах психологизма, которые-де мешали ему осваивать новый мир. Вряд ли стоит сегодня опровергать это явно ошибочное утверждение.

В рассказе «Бабья печаль» (1924), в этой «маленькой книжечке с большим содержанием»[2], за которую писателю была присуждена первая премия журнала «Красная нива», заметно усиливается, по сравнению с первым рассказом о гражданской войне, психологическая характеристика главного действующего лица — партизанки Паруньки. Внимательнее вглядывается писатель в судьбу героини, глубже раскрывает ее внутренний мир, тщательнее прослеживает, как из угнетенной крестьянки вырастает боец против произвола и насилия.

И Парунька, и партизаны, среди которых она оказалась, — обычные люди. Таковы и все другие герои И. Гольдберга. Однако действовать этим людям приходится чаще всего далеко не в обычных обстоятельствах. Жизнь Паруньки складывается так, что ей приходится жертвовать самым дорогим, самым заветным во имя спасения товарищей по отряду. Это дает писателю возможность ярче подчеркнуть силу ее характера, преданность делу революции, готовность отдать все ради победы. Однако это пристрастие к остро драматическим ситуациям оборачивается в «Бабьей печали» некоторой односторонностью. «Что-то дрогнуло в бабе», — пишет И. Гольдберг. Вот этому «что-то» и уделяется главное внимание, автор стремится раскрыть сущность героини через показ «оскорбленной в своем заветном и интимном женщины»[3]. В более позднем произведении И. Гольдберга «Сладкая полынь» исследуется опять-таки с большой тщательностью характер бывшей партизанки Ксеньи, вернувшейся к мирной жизни и не нашедшей своего места в буднях послевоенных лет.

Новыми тропами идут многие герои И. Гольдберга, и, хотя пути эти не всегда убедительно раскрываются писателем, он неизменно на стороне борцов за свободу, именно в них он видит будущее, именно они больше всего влекут его к себе.

Находят свой путь в революцию лучшие представители мира интеллигенции. Они не остаются «сами по себе», как у В. Вересаева, хотя ради этого жертвуют порою многим, что дорого им, как Валечка в повести «Марта ветры острые», а иногда и жизнью, как Наташа в повести «Цветы на снегу».

Писатели-сибиряки довольно редко касались темы интеллигенции. Несколь-

[1] Л. П. Егоров. О романтическом течении в советской прозе. Ставрополь, 1966, стр. 31.

[2] «Сибирские огни», 1925, № 3, стр. 215.

[3] М. Азадовский. Предисловие к книге И. Гольдберга «Бабья печаль». Иркутск, 1925, стр. 6.

ко рассказов К. Урманова, Г. Вяткина, Я. Брауна, Ф. Тихменева, повести О. Руновой и М. Премирова да широко известные «Четыре главы» Л. Сейфуллиной — вот, пожалуй, и все, что создано в двадцатые годы на эту тему, кроме рассказов и повестей И. Гольдберга, по праву занявших в ряду этих произведений видное место.

И все же главная сила произведений И. Гольдберга о гражданской войне состоит в глубоком показе неизбежной гибели колчаковцев, в психологически убедительном раскрытии их образов, в лирически напряженном повествовании, усиливающем эту центральную мысль автора.

Рассказы «Гроб подполковника Недочетова» (1924) и «Путь, не отмеченный на карте» (1926) — наиболее яркие и выразительные по своим художественным качествам, по силе разоблачения белогвардейщины. Не случайно писатель в заглавие целого цикла произведений о гражданской войне вынес название второго из этих рассказов.

Колчаковцы, убегающие от народной кары, — в центре заглавного рассказа цикла. Принцип «содружества» всех беглецов определен в самом начале: «К черту! Никаких товарищей, никаких начальников!.. Спасайся, кто может!» (стр. 287). Последовательно эта мысль получает свое развитие в рассказе. Мысли и образы, которые лишь намечаются в предыдущей главе, получают свое развитие в начале следующей. Так мысль о все большем уподоблении группы беглецов стае волков постепенно усиливается в главах «По следу», «Лабаз», наконец в главе «Никаких начальников! Никаких товарищей!..», мораль путников прямо характеризуется как звериная, волчья, а следующая глава получает краткий и выразительный заголовок — «Волки».

Некоторые детали в рассказах И. Гольдберга таким образом обретают символическое звучание. В рассказе «Наследство капитана Алешкина», например, наследство колчаковцев даже после их смерти приносит несчастье: по деревне, куда попала одежда офицеров, начинает гулять страшная болезнь. Обладательницей заветного чемоданчика с золотыми вещами становится... лисица! Тела белых офицеров вместе с мусором и грязью уносит река, очищая берега от всего лишнего.

По признанию самого Гольдберга, долго исповедуемая им идея «закона тайги» оказала какое-то влияние на некоторые его рассказы о гражданской войне, ощутимо отодвигая на второй план социальную характеристику героев. Так, рассказ «Путь, не отмеченный на карте» заканчивается столь нечеткими расплывчатыми рассуждениями автора о гибели многих, что это дало в свое время повод вульгаризаторской критике заявить: «В главе «Мысли, которые не умирают» автор поет гимн белым, павшим в тайге»[1]. Совсем поиному звучит финал рассказа «Гроб подполковника Недочетова», где ни одна фраза не может дать основание для двоякого ее толкования: «В городах багрово плескались красные полотнища. Затихла кровавая страда. Разгоралась над февральскими, еще не окрепшими, еще пугливыми зорями живая жизнь» (стр. 339). И хотя в этой сцене немало условного, неточного, она, тем не менее, логически и образно завершает размышления автора о героях гражданской войны, о которых он смог сказать свое слово. «Ис. Гольдберга читаешь, забывая порою о недостатках языка и построения, — отмечал в своих заметках один из первых исследователей творчества И. Гольдберга. — Забываешь и о знакомых темах, бесконечное множество раз использованных молодой советской литературой. Это уже много. Это значит перед нами писатель со своим индивидуальным лицом...»[2].

Таким образом писатель вместе со своими героями ведет читателя через колчаковщину, через многочисленные партизанские выступления, через самые драматические события эпохи гражданской войны к новой послевоенной действительности и один из первых в советской литературе знакомит с буднями восстановительного периода в своих крупных произведениях «Поэма о фарфоровой чашке» (1930), «Главный штрек» (1932), а потом и с колхозным строительством в сибирской деревне в романе «Жизнь начинается сегодня» (1934).

---

[1] «Локаф», 1932, № 6, стр. 141.

[2] ЦГАЛИ, л. 1246, оп. 3, ед. хр. 78, л. 20.

Книги эти созданы в том же романтическом ключе, который так своеобразно проявлялся в произведениях И. Гольдберга о гражданской войне. Характерен в этом отношении лучший роман писателя «Поэма о фарфоровой чашке», построенный как «производственная поэма в прозе». Опыт И. Гольдберга во многом удался. В центре внимания писателя оказываются проблемы социалистического строительства, которые решаются им на близком и хорошо изученном материале восстановления фарфоровой фабрики в Сибири. Документальные очерки, появившиеся незадолго до того в сибирской прессе, переплавились затем в художественные образы, правдиво и поэтично передавшие правду социалистического революционного сегодня. Документализм и лиризм прекрасно синтезированы И. Гольдбергом в этом романе. Не случайно роман оценивался как этапное произведение писателя-сибиряка. Достоинства одного из первых в советской литературе произведений о социалистическом строительстве отмечались и М. Горьким, который очень высоко оценивал всю самоотверженную и талантливую работу И. Гольдберга: «Дорогой Исаак Григорьевич, — писал основоположник советской литературы в 1933 году. — Сердечно поздравляю Вас! Примите мой искренний и почтительный поклон.

Мне кажется, что я довольно четко и живо могу представить себе, что значит и сколько требует сил тридцатилетняя работа в области литературы за пределами внимания литераторов и критиков «центра»[1].

Действительно, при необычайной широте творческих интересов, пестроте тематики произведений И. Гольдберга писатель неизменно оставался верен Сибири, краю, где он родился и жил, который полюбил с детских лет.

Самое деятельное участие принимал И. Гольдберг в литературно-художественной жизни родного края. Он — среди организаторов и деятельных сотрудников иркутского журнала «Будущая Сибирь». Вместе с другими литераторами И. Гольдберг представляет литературную Сибирь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году. Вся деятельность Иркутской писательской организации вплоть до 1937 года тесно связана с именем И. Гольдберга. В юбилейные дни писателя газета «Восточно-Сибирская правда» с полным основанием писала: «Общественность, литературный актив, рабочий читатель отметят и то, чем был Ис. Гольдберг для массового литературного движения нашего края. Его работа в литкружках, в редакции журнала, в литконсультации, его горячее участие в общественно-литературной жизни — прекрасный штрих, дополняющий образ большого мастера, не замыкавшегося в своем кабинете и отдающего свой тридцатилетний опыт, свои знания молодому литдвижению»[2].

Творчество И. Гольдберга оставило заметный след в советской литературе. В свое время А. Фадеев отмечал, что первые его произведения «Разлив» и «Против течения» написаны были не без влияния сибирских писателей Исакова, Гребенщикова, Гольдберга, Новоселова[3].

В недавно отшумевшей дискуссии о лирическом и исследовательском пафосе современной советской литературы имя Гольдберга не упоминалось, однако книги его, ярко выраженная лирическая манера раскрытия действительности позволяют утверждать, что и в этом споре о литературном процессе он участвует, как и многие другие советские писатели, прочно вписавшие свои имена в историю советской литературы. Все это еще и еще раз позволяет всерьез говорить о необходимости издания собрания сочинений писателя-сибиряка.

Несколько лет тому назад, когда книги И. Гольдберга только еще становились достоянием современного читателя, появилась статья о его творчестве с обнадеживающим названием «Жизнь начинается снова». Сегодня можно, пожалуй, сказать и больше: для писателя-сибиряка Исаака Гольдберга жизнь продолжается.

Э. ШИК

---

[1] «Горький и Сибирь». Новосибирск, 1961, стр. 197.

[2] «Восточно-Сибирская правда», 1933. 4 декабря.

[3] И. Баскевич. Памятная беседа. «Дон», 1967, № 1, стр. 185—188.

Ис. ГОЛЬДБЕРГ

НАКАЗАНИЕ

1

Продуло ли меня у окна сибирским хиусом, или по какой иной причине, но заболело у меня в горле — ни глотнуть, ни вздохнуть не могу. Потащился я в амбулаторию, взглянул врач в мое горло, сунул деревянную палочку и коротко кинул фельдшеру:

— В больницу!

Брыкался я, отбивался — не хотелось мне от своих уходить в больницу,— но ничего не вышло, и увели меня в тюремный больничный барак.

В бараке попал я в компанию уголовных больных, охватило меня едким, сладким и густым больничным запахом. Улегся я на узенькую шатучую койку. Не успел оглянуться — задергало у меня в глотке, заболело. Света белого не взвидел я. Так до вечера промаялся я с разными припарками и полосканиями, и только, когда стемнело и зажгли керосиновые лампы, пришел я немного в себя и огляделся.

Барак был длинный, узкий. Койки тянулись в три ряда. С потолка свешивались широкие круги абажуров, из-под которых сеялся на серые одеяла, на бледные желтые лица, на угловатые контуры тел жидкий желтый свет.

Моя койка была с краю, ближе к двери. Я мог, приподнявшись на постели, разглядеть всех моих товарищей по бараку. Но я видел вокруг себя однообразные серые фигуры, я не мог в неверном освещении отличить желтые пятна лиц и выделить среди них чье-нибудь, на котором взгляд остановился бы с вниманием или любопытством.

В бараке шелестели вздохи, чуть сдержанный говор, изредка проносился стон.

Когда стали разносить вечерний чай, служитель задержался зачем-то дольше, чем возле других, у койки, стоящей в углу, за выступом широкой печки. Оттуда раздался хриплый голос, потом глухие стуки.

Я взглянул туда. Больной, лица которого я не приметил, с трудом сползал с этой койки. Служитель не помогал ему, но стоял и глядел. Больной сполз, подобрал мешавший ему халат и пополз на руках по полу, увлекая за собою бездействующие ноги, словно животное с перебитым хребтом.

Я с жадностью следил за усилиями этого больного и изумленно наблюдал странное и необъяснимое явление: когда безногий больной проползал мимо какой-нибудь койки, лежавший на ней весь как-то подбирался, отстранялся от ползущего, как отстраняются с испуганным презрением и гадливостью от зачумленного, от смердящего, страдающего прилипчивой, заразной болезнью.

Служитель шел следом за ползущим. И так сопроводил он его в коридор через дверь, возле которой я лежал. Так же проводил он его обратно на койку.

Лица проползшего мимо меня больного я и теперь разглядеть не успел.

Служитель ушел, унеся с собою кружки. Больные обладили на себе с кряхтением и сдержанными ругательствами одеяла.

Больничный день кончился. Приползла длинная ночь.

2

Когда в бараке все тревожно и настороженно затихло, я вдруг снова почувствовал приступ боли, словно тишина обострила ее, встряхнула и вырвала наружу. Я заметался на постели; я садился, ложился, примащивался и на тот и на этот бок: боль не затихала. Тогда я сорвался с места и стал метаться по бараку, сдерживая стоны и кусая до крови губы.

Движение немного облегчило мои страдания. И, придя в себя, я стал оглядываться по сторонам. На койках как будто все замерли. Никто на меня не обращал внимания; никому я не мешал.

Но внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд — неотрывный и упорный. Я обернулся и увидел того ползучего больного. Он сидел, съежившись, на своей койке. Желтое лицо его с резкими угловатыми чертами было обращено ко мне, и два раскаленных угля — два глаза с непередаваемым выражением следили за мною, за каждым моим движением, каждым шагом.

Я не понял выражения этих глаз, но почувствовал какое-то безумие в них, и мне стало жутко. Это бодрствование среди всеобщего покоя, эта настороженность, запечатленная во всей фигуре, в высоко поднятых плечах и судорожно ухватившихся за спинку койки руках, этот полуоткрытый рот, из которого выбивалось свистящее дыхание, все было так странно и неожиданно, что я отвернулся, доплелся до своей койки и поскорее улегся на ней.

Я недолго полежал так, отвернувшись от странного больного. Потом меня потянуло взглянуть на него, узнать, что он делает. Я взглянул — и снова встретил тот же неотрывный, настороженный и испуганный взгляд. Как будто больной все время, беспрестанно глядел на меня, следил за мною, ждал чего-то....

Ночь я провел тревожно. К болям в горле прибавилось вот это необъяснимое, что шло от бодрствующего больного. Я мало спал. И когда бы я не попытался крадучись, внезапно взглянуть в ту сторону, где стояла койка парализованного, я каждый раз обжигался горячим, непереносимым, как мне тогда казалось, поблескивающим взглядом безумных глаз.

3

Утром проснулся я разбитый, с обостренной болью в горле. Я припомнил то, что было ночью, и, хотя, собственно говоря, ничего особенного не случилось, мне казалось, что ночь была полна какого-то значительного сло-

жного содержания. Я поискал глазами моего больного. Он в это время полз, как и вчера днем, вслед за служителем. Как и вчера, арестанты, мимо которых он проползал, гадливо подбирали свои одеяла и бушлаты. Он полз торопливо, но на этот раз я успел лучше разглядеть его лицо, поймать его взгляд. Это был взгляд загнанного, затравленного пса.

Когда он скрылся в дверях, я перегнулся к ближайшему соседу по койке и спросил:

— Что это он?..

Но еще прежде, чем он успел мне ответить, по удивленному и даже укоризненному взгляду моего соседа я понял: легавый!..

Как же я это сразу вчера не понял? Разве трудно было определить с первого взгляда, что это презираемый среди арестантов, преследуемый ими «стукач», предатель, начальнический наушник, шпион, которых, раз разоблачив, тюрьма выбрасывает из своей среды, заставляет убираться в «сучий куток» или, если удастся, убивает? Мне стало стыдно самого себя — эх, старый тюремный сиделец, а такой вещи простой сразу не сообразил? — и я перестал расспрашивать о легавом, о его парализованных ногах, о его прошлом.

Днем доктор полазил в мое горло своей щеточкой, потом меня увели в операционную, там меня живо скрутили, прорезали нарыв, промыли и отпустили обратно в палату.

— Дня два проболтаетесь здесь, а потом можете снова гулять себе в свою камеру!..

Я эти два дня проболтался, отдыхая от боли и ощущая блаженное чувство выздоровления.

В эти два дня я уже проще и спокойнее разглядывал ползучего больного и подмечал каждый штрих, каждую мелочь, связанные с ним.

Я видел, с какой тревогой, с какой опаской прикасался он к пище, и я чувствовал и понимал, как боялся он какого-нибудь подвоха со стороны соседей. Каждое движение со стороны кого-нибудь из больных по его направлению наливало его удесятеренным страхом: он весь сжимался на койке, и в глазах у него зажигался ужас.

Было вчуже жалко смотреть на него, и я легко и весело вздохнул, когда меня выписали из больницы и позволили вернуться в прежнюю камеру, к своим.

4

Когда я водворился обратно на прежнее свое место и стал весело устраиваться на койке, кто-то из товарищей спросил меня:

— А ты не встречал в больничном бараке палача?

— Палача?! — переспросил я.

— Ну да — палача. Он там уже месяца два обретается. Кобылка выдумала для него остроумную пытку: его предупредили, что прикончат, и он все, говорят, ждет, когда его отравят или задушат...

— Вот как! — всполошился я. — Теперь я все, окончательно все понимаю.

И я рассказал товарищам обо всем, что видел в бараке.

А позже, на прогулке, когда уголовному старосте удалось пробраться на наш двор, я расспросил его про палача, и он рассказал мне:

— Этот гад в палачах ходит, стало быть, давно. Самарский он. Из города Самары. Жену он отравил, за жену на каторгу ушел. Срок ему был дан большой, ну, между прочим, удалось ему облегченье себе сделать: в побегах с полгода ходил. Поймали его и, конечно, припаяли строку. И ничего был человек, не замечалось за им никакой промашки. Но вышел тут один фокус. Дали смертную трем паренькам за почту. Почту пощупали и при том ямщика и почтальона укокали. Ну, ждут своего часу осужденные. Конечно, в тюрьме сумно, притихли. Смертная-то казнь не всегда бывает, а тут еще сразу трех сказнить собираются. Ну, день проходит, два, три, и ничего не происходит. Что за причина? Оказывается, начальство палача найти не может. Приговорить-то к смертной приговорили, а палачом не запаслись. И вот пошли шуровать по камерам. Стали щупать долгострочных, подговаривать, сомущать. Думают — польстятся ребята на скидку строка и подобное облегчение. Однако время проходит, а желающих нет... Конечно, менты своего в конце-концов добились, палача сыскали и ребят тех повесили. Но вешать-то по приговору нужно было троих, а прикончили только двоих. Третьему уж петлю на шею насдевали, и в ту самую минуту зачитали ему помилование, замену, значит, смертной восемью годами каторги. Парень, конечно, в одиночку свою явился обалделый, но, между прочим, очухался, а потом давай все припоминать. И заприметилось ему, что хоть палачи — двое их было — и машкированные были, но в одном быдто знакомый ему почудился. Дальше — больше, думал, соображал парень — и все-то выходит у него, что шибко Шестоперов (Шестоперовым прозывается гад-то этот, палач) на палача показывается. Ну, рассказал он головке... Те давай примечать. Сначала ничего за Шестоперовым не замечалось. И уж хотели было его совсем с подозрения снять — вдруг вызывают его с вещами. Перевод ему в Читу делают. Что, почему? Неизвестно. Только проходит какой-нибудь месяц, приводят его к нам снова. А в это время прикинули мы обстоятельства и замечаем, что в те самые числа, когда должен он пребывать в Чите, сказнили двух взломщиков по мокрой... Одним словом, добрались мы до сволочи, дознались. А дознавшись, вышибли мы в один прекрасный вечер дух из него. Да, видно, второпях неаккуратно действовали, остался он, тварина, в живых, хотя и обезножил и на весь век хворым сделался.

Когда объявилось, что жив он, разгорелись ребята и решили вторично окончательно пришить его. Однако по обсуждению дела и как увидели мы его положение, то решили не марать больше рук о такую пропастину, а содержать его под страхом. Объявили ему, что так, мол, и так, а все равно жизни тебе, сукин сын, не будет: или удавим, или отравим... Вот он и ждет. Видал, небось, как его в больнице карежит?!..

Я вспомнил полубезумный взгляд палача, его постоянное, захлеснувшее его ожидание смерти и необдуманно сказал:

— Что же вы его, наконец, не прикончите?

Староста поглядел на меня насмешливо и сожалительно.

— Чудак-человек! — улыбнулся он. — Так зачем же мы такому гаду облегченье делать будем? Если пришить его, это ему прямо благодеяние. Нет, пущай, гадина, чувствует!..

На будущий год, на большом якутском этапе, встретился я с этим старостой. Встреча была самая родственная и радостная: как же, одну баланду хлебали!

После разных расспросов о том, о сем, спросил, между прочим, и о палаче.

— Все еще пытаете его?

— Нет, — огорченно ответил мой знакомый, — освободился, гадюка! Изловчился, веревочку себе раздобыл и удавился на спинке койки...

Я вспомнил мерцающие в сумраке барака дикие глаза, вспомнил зашибленность и убивающий страх, притаившиеся во всей фигуре, во всех движениях тогдашнего моего соседа по больничному бараку и поверил в мудрость жестоких тюремных законов.

СМЕРТЬ ДАВЫДИХИ

1

Рано добрела Давыдиха до хребта, где сосновый лес кончается. Здесь уж можно и отдохнуть. Место известное: каждую зиму выходят сюда навстречу «друзья» — купцы русские. Белку берут, соболя, горнака, сохатину...

Развьючила Давыдиха оленей, сложила на снег патакуи, сумы и иссохшие, застывшие на морозе сохатиные шкуры. Снег разгребла поближе к прилеску, чтоб ветром меньше хватало. Холодно с ним, с ветром. Скоро запылал и костер. Старуха набрала в котелок снегу, поставила на огонь и закурила трубку, глядя на длинные огненные языки, взвившиеся вверх в морозном воздухе. Неподалеку присели все ее три собаки.

Зимние сумерки только-только стали надвигаться и заволакивать лес. Еще желтела на западе яркая полоса, в которой вспыхивали красные отблески. От собак и Давыдихи, освещенных мигающим светом костра, который заканчивался где-то высоко клубами серого дыма, ложились на снегу синие тени. Изредка тихо визжали собаки, зевали и били обледеневшими хвостами по снегу.

Думает Давыдиха: «Конец промыслу. Хороший нынче он. Вот у ней много белки и горнаков. Есть и соболь. Один только. Ушел теперь соболь подальше от людей. Раньше — в молодые годы Давыдихи — больше его было. Зато купцов меньше было, денег и водки меньше давали».

Усмехается старуха: вспомнила, как она — еще девкой будучи — все удивлялась — зачем купцы приезжают за белкой и соболем, почему сами не промышляют. «Разве, — думала она тогда, — нет ружей у них и мало пороху? Разве не у них покупают все иллель ружья, и свинец, и порох?.. Или мало места в тайге и не хватит для всех пушного зверя?..»

Теперь Давыдиха сделалась большой онь-око, состарилась, все поняла,

все узнала, все видела. Многое-многое. Разве кто другой по Чайке больше видывал, чем старая?

Умер Давыд, взяла она его ружье, его пальму и пошла сама промышлять. Чум оставила; ребятишки в нем маленькие — да им что? Они вырастут сами, а она пойдет промышлять... Узнала Давыдиха многое, да. И купцы ее знают. Сама Палагея Митревна покрутилась с ней — навстречу ей выходит с водкой, много водки выносит, потому — знает, что Давыдиха не с пустыми руками тоже придет с промысла...

Вот и теперь, белку сдать — нужно взять орошмы побольше, яшну, соли, чаю. Красный товар нужно тоже. И больше всего — водки.

На все хватит! И торжественно глядит старуха в ту сторону, где лежат патакуи и сумы. Темно там, сгрудились тени, покрыли все. Тихо, только олени чутко стоят и поводят ветвистыми рогами — слушают.

Вскипела вода в котелке. Долго пьет Давыдиха горячую воду: чай давно вышел, мало его было. Выпила воду, опять задумалась. Много раз разжигает трубку. Затягивается, клубы вокруг разбрасывает, всю себя дымом загораживает.

Маленькие мысли у Давыдихи: все лес — только он один в голове. Каждая тропка оживает, каждая речка. Точно живые. Может, и впрямь живые...

Подошла одна собака. Ткнулась мордой в колени, хвостом помахивает... дремлет Давыдиха...

2

— Ой, ниру... Здравствуй!..

Ожил лес от крика. Прыгают собаки, лают. Только не сердито: точно здороваются с чьими-то чужими.

Поднялась старуха; заспалась немного. Глядит — сама Палагея Митревна «покручника» своего встречает.

Хорошо живет Митревна, толстая, жирная. Лицо круглое, белое...

— Здравствуй, — говорит Давыдиха. — Садись к огню.

Пошла коня отводить к стороне, смотрит в нарточку: много ли водки Палагея Митревна привезла. Много! Повеселела старуха. Хлопочет около купчихи.

— Холодно нынче. Греться будешь? Воду кипятить будем. Ладно?

Сидят обе женщины возле костра. Поодаль собаки; пять их теперь с чужими. Ярко горит сушина, потрескивает. Кругом костра нависла темнота. Слабо синеют деревья. Только иногда, как пыхнет от ветра огонь, выхватит он из тьмы ряд уснувших деревьев, осветит на миг. И опять спрячет. И кажется — тут они, вот близко, и не близко.

Пьют обе старухи водку. Больше налегает Давыдиха. Залоснилось широкое лицо, глазки блестят: хорошо! Не слушает, что ей говорит Палагея Митревна. Только головой поматывает:

— Да, мол, белка есть, много нынче белки. Вышла она... хорошая... Подпали мало...

Пьет Давыдиха. Отошла от нее гостья в сторону. Роется в тюках, по патакуям — пушнину отбирает, в нарточки к себе переносит. А из нарточки новую бутылку водки несет, крепкую — чистый спирт...

Маленькие мысли у Давыдихи, думает:

«Ой, баба — Митревна!.. Все с работником ездила покручников встречать. Теперь — одна... Никого не боится. Водку крепкую привезла. Хорошая баба... Белку возьмет. За белку много, много водки можно взять... Много!».

Залаяли собаки. Подошли к Давыдихе, глядят то на нее, то на гостью, которая в дорогу собирается, лошадь обряжает, дохой поклажу прикрывает.

— Пошто едешь? — лепечет Давыдиха.

Тяжело у ней в голове, слова плохо на язык идут. Тянется за Палагеей Митревной, не может подняться: «Ишь, как водка греет!».

Засмеялась старуха — заливается от хохоту. Весело. Да и светло кругом. Жарко стало — пояс силится развязать, чтобы охладиться. На собак кричит пронзительно, с хохотом же. А все светлей кругом да светлей. И собак уж нет, и лес-то другой — точно на Чайке. Чум. Люди ходят — тунгусы. Ребятишки смеются звонко, так что в ушах отдается, ползают, хватают Давыдиху за унты, за руки, за лицо... Весело... Кружится все. Кружится быстро так...

Собаки обступили Давыдиху. То одна, то другая ткнет ее мордой в грудь, в колени. Одна лицо лизнула. Проголодались собаки — трогаться в путь пора. Солнце зимнее, тусклое солнце уже трогает верхушки леса, побелило пролески. Костер чуть тлеет... Не подымается Давыдиха! Вот уже и снегом ее стало порошить-заносить.

Жалобно скулят собаки, поджимая лапы...

3

Утром Палагея Митревна работнику говорит:

— Поехать надо, Прокопий, Давыдиха уж, однако, вышла.

Снарядились, водки взяли. По целому снегу поехали, до места добрались. Ахают.

— Ах, ты, беда! Замерзла Давыдиха. Водки где-то достала — опилась... Белка цела, мало она нынче набила. Ах, ты, беда!..

— Хороший покручник был!..

Собаки воют возле мертвой старухи. Лают на Палагею Митревну — злые.

Домой приехали. Палагея Митревна рассказывает про горе:

— Замерзла Давыдиха... Дети у ней, у бедной, остались на Чайке. Ну, ладно!.. Белка вот осталась от покойницы, хоть и мало ее, да все ребятишкам да родичам кой-что и наберется.

Стоят, слушают другие тунгусы — покручники Палагеи Митревны — думают:

— Умная баба Митревна. Хороший друг; ребят Давыдихи жалеет, вспоминает. Добрая баба...

Елена ЖИЛКИНА

СОВЕСТЬ

Я совесть представляю
не иначе:
она тиха,
застенчива, добра,
открытых глаз
ни от кого не пряча,
спать не дает,
бывает,
до утра.
Мы долго смотрим
в те часы назад
и, одержимы слабостью минутной,
ломаем пальцы
от догадки смутной,
не понимая,
что от нас хотят.
Но мы не можем
жить как прежде,
и днем и ночью
все твердим свое,
чтоб совесть
в незапятнанной одежде
была бы рядом...
Кто мы без нее?

* * *

Как я боюсь
вступить за ту черту,
что попросту зовется
все века —
изменой...
Шуми, моя река,
не возвращайся вспять...
Я постою,
чего-то подожду здесь,
на мосту,
чуть вздрогну:
ветер переменный
моей щеки коснется
на лету.
А я — не ветер,
не река, —
я — человек.
Наделена угрюмым постоянством,
мучениями,
временем, пространством,

любовью
со смешным названием
«навек»,
привычками, мне данными
в наследство,
такими как
под крышею родной
ночлег.
И все ж, по-человечески,
становится мне грустно.
Завидую реке —
она вольна:
легко меняет
вековое русло.
А ветер,
будто трогая струну,
подхватывает новую струю.
Нахмурилась
и потемнела высь.
Вон
над летящею водой
огни зажглись.
Не ухожу.
Все жду
и жду чего-то на мосту.
Как я боюсь ступить
за ту черту.

* * *

Должно быть, у зимы
свои законы,
свой поздний свет,
чуть синий,
заоконный,
свои потери,
утонувшие в снегах,
когда все немо,
все так равнодушно,
и безнадежность — рядом —
в двух шагах.

А я вставала,
на часы глядела,

отогревала строчки,
как умела,
они похожи были
на пичуг,
что падают в морозы,
как ледышки,
и кажется,
совсем уже не дышат,
и кажется,
совсем не слышен стук
их маленьких сердец,
где поселилась стужа...
Но я не отступала
ни на шаг,
слова озябшие
закручивая туже,
вдруг различала в них
оживший такт.
Слова несли еще
оледенелость муки,
печаль сугробов
и метели свист...

Ну вот и все.
Я отдавала их,
стихи,
в чужие руки
на страх свой
и на риск.

* * *

Вот дворик,
я тут жила,
мне кажется, в тридцатых...
Что к дому
лестница щербатая вела,
что по весне
тут яблоня цвела,
сейчас не вздумала бы
отрицать я.
Не мне судить его:
«провинциален, мол,
отстал от века».
Он просто не утратил ничего,
он — времени
незыблемая веха,
он — в биографию вошел
в мою.
И я сосредоточенно
и строго
стараюсь взвесить все.
Как много
он видел из того,
что даже от друзей таю.
Я проходила тут
когда-то,
мир был зыбок,
я торопилась,
чтоб отвесть беду.
Потом у дворика
десятилетье на виду
несла тяжелый крест
своих ошибок.
Сегодня он
напомнил обо всем
так шаг за шагом
и каждый день за днем.
Стою и плачу,
прислонясь к стене,
а рядом взрослые
шумят деревья...
Прошу я их
совсем не о доверьи,
а лишь о милосердии
ко мне.

Иркутский критик и литературовед В. П. Трушкин готовит к печати серию литературных портретов, посвященных иркутским поэтам. В нее войдут очерки о зачинателях советской поэзии в Сибири — Д. И. Глушкове (Олероне), Ф. М. Лыткине, И. К. Славнине, А. И. Балине — и о поэтах — наших современниках — Марке Сергееве и Анатолии Преловском.

В этом номере публикуется первый портрет, рисующий образ талантливого иркутского поэта-лирика конца двадцатых — начала тридцатых годов В. И. Непомнящих.

«ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ ЭТУ...»

(Василий Непомнящих и его лирика)

За свою историю Иркутск дал нашей литературе немало талантливых литераторов — прозаиков, поэтов, драматургов, публицистов. Василий Непомнящих принадлежит к числу наиболее одаренных из них. В своей лирике, эмоционально окрашенной, насыщенной «бытовой» живописью, колоритными деталями и подробностями времени, отмеченной свежей образностью, поэт сумел выразить настроения, мысли и чувства людей его поколения, передать самый пульс, неповторимое своеобразие эпохи тридцатых годов. Он был сверстником тех, кто, по словам В. Маяковского, «вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден». И биография поэта во многом была сродни жизненным путям его сверстников — основных героев лирических стихов Непомнящих.

В. И. Непомнящих родился в 1907 году в селе Усть-Куда, Кимильтейского района, Тулунского уезда, Иркутской губернии. История рода Непомнящих теряется в бродяжей, каторжной Сибири. Позднее, став уже известным поэтом, он рассказал о своей родословной, начало которой положил «дед — широкоплечий каторжанин, душегуб, не помнящий родства». Вот каким рисуется путь в Сибирь этого отчаянного предка в представлении поэта:

По этапу с Дона ражим парнем
Он прошел до буйной Ангары,
Соль таскал в царевой солеварне,
Сваи бил и котлованы рыл.

Отец Непомнящих был извечным крестьянином-батраком. Такую же участь поначалу готовила жизнь и будущему поэту, как-то сказавшему о себе: «Мне досталась по наследству горькая батрацкая судьба». Трудовая жизнь его началась рано. Он был сапожником, слесарем, батраком. Подростку Непомнящих захотелось переломить свою судьбу, попытать счастья в большом городе. В нем с детства жила любовь, унаследованная от бабушки, к фольклору, к песенному народному слову, рано пробудилась тяга к образованию. Так однажды росным летним утром, когда петухи трубили новый день, с котомкой за плечами он отправляется в дальнее путешествие за счастьем.

Я в то утро босиком
За смутным счастьем в дальний город
Ушел отважным ходоком
От древних сказок и просторов.

Ушел он, по его словам, затем, «чтоб там по-новому понять родных полей старинный облик».

Так юноша Непомнящих, коренастый, низкорослый черноглазый крепыш с типично «сибирским» скуластым лицом, увенчанным густой шапкой жестких, не поддающихся гребню вьющихся кольцами волос, оказался в Иркутске. Это было в самом начале двадцатых годов, когда только что отшумела гражданская война и молодежь — дети вчерашних партизан, бедняки, сыны батрацкие — потянулась жадно и ненасытно к знаниям, к учебе. В педагогический техникум поступил и Василий Непомнящих, потомок каторжанина, паренек из глухой таежной сибирской деревни. В 1923 году он стал комсомольцем, а вскоре и студентом-филологом Иркутского университета, который он успешно окончил в 1930 году.

Любовь к поэзии, жившая в нем с детства , нашла теперь выход в первых стихах, чистых и звонких, как веселые весенние ручьи. Одаренного юношу быстро заметили и поддержали старейшие сибирские литераторы — прозаик Исаак Гольдберг и поэт Александр Балин. Он становится завсегдатаем литературных вечеров ИЛХО, близко сходится со своими поэтическими сверстниками, однокашниками по университету — В. Вихлянцевым, Львом Черноморцевым, Еленой Жилкиной. Друзья издают студенческий рукописный журнал, начинают сотрудничать в иркутской газете «Власть труда».

Первые стихотворения Непомнящих появились в печати в 1925 году на страницах газеты «Власть труда». В это же время несколько его произведений («Октябрь», « В деревне» и другие) вошло в коллективный сборник иркутских поэтов под названием «Стихи», изданный ИЛХО (Иркутским литературно-художественным объединением). Спустя некоторое время в 1927 году в новом

коллективном сборнике «Иркутские поэты» он уже выступает с целой подборкой стихов («Бурятская степь», «Осенние стихи», «Ледоход», «На Байкале», «Сплавщики»).

С 1926 года стихотворением «Посиделка» («Сибирские огни», 1926, № 5—6) начинается активное сотрудничество поэта в этом журнале, продолжавшееся по 1940 год. Здесь были опубликованы многие оригинальные его произведения, переводы из Шевченко, из алтайского фольклора, из произведений первого алтайского народного поэта Павла Кучняка; на страницах же «Сибирских огней» в первой половине тридцатых годов широко печаталась и проза поэта: очерки и рассказы, рецензии на стихи товарищей по перу. В частности, ему принадлежат рецензия на первую книгу Молчанова-Сибирского «Покоренный Согдиондон», большая статья, посвященная тридцатилетию творческой деятельности Исаака Гольдберга.

В 1931 году Василий Непомнящих переселился в Новосибирск, часто совершал поездки на Алтай, в Кузбасс, но его творческие связи с родным Иркутском никогда не прерывались. В журнале «Будущая Сибирь»» он опубликовал едва ли не лучшие, во всяком случае весьма характерные для его лирики стихотворения «Изыскатели», «Студент», «Рапорт строителей Кузнецкстроя», «Письмо другу», «Смерть друга», «Алтайские народные песни».

При жизни поэта вышло четыре небольших поэтических сборника. Первый из них — «Огнеупор», — насчитывававший всего двадцать шесть страничек малого формата, посвященный строителям Кузнецкстроя, был издан в 1932 году в Москве в библиотечке «Роста». В следующем году в Новосибирске выходит наиболее полный и наиболее известный сборник поэта «Покорение тайги». За ним последовали еще две книжечки стихов «Зарядка» (Иркутск, 1934) и «Стихи» (Новосибирск, 1939). Вот, пожалуй, и все, что было издано самим поэтом, но за этой суховатой библиографической справкой скрывается многое и прежде всего — жизнь. полная творческого горения и самоотдачи, горячее сердце комсомольца, жившего в бурную эпоху, на рубеже двадцатых-тридцатых годов, одного из тех, кто видел первый трактор в сибирской деревне, кто забирался по непролазным дорожным тропам на вершины горного Алтая, кто закладывал первые домны в Кузнецке и первые шпалы под рельсы Турксиба.

Ранние произведения В. Непомнящих рисуют сибирскую деревню первых лет революции со всем причудливым смешением старого и нового в быту, в человеческих взаимоотношениях, где на каждом шагу «пахнет старым, пахнет новым в песенках задорных», где какой-нибудь «сын батрацкий Ваня Сечкин» хлопочет о создании комсомольской ячейки, и тут же прорываются песни старой деревни о неизбывной бедняцкой доле.

> Говорят о комсомоле
> И про Ильича.
> Поют рядом «Злая доля»
> Девки в кумачах.

Хорошее знание обычаев, нравов и психологии сибирского крестьянина, чувство слова, родниковой народной речи делают эти стихи по-настоящему поэтичными, проникновенными, чистыми. «Поэзия Непомнящих, — писал о нем один из первых его критиков, — уходит своими корнями в крестьянский быт и настроения. Язык Непомнящих прост и прозрачен. И легко заметить в этом языке — и в словаре и в синтаксисе — влияние народнопесенной стихии».

И действительно, стихи его, живописные и яркие, полны примет живой жизни. Он пишет о деревенских посиделках, когда долгими зимними вечерами собирается деревенская молодежь где-нибудь на краю села, «в мерзлой хате». Парни балагурят, девчата прядут «лен-куделю», а потом на прощание они все вместе отбивают так, что ходуном ходит пол, удалую «подгорную» и «русскую барыню».

В стихотворении «В бурятской степи» возникает образ пастуха-бурята, «певца великого» родной природы, которого почтительно готов приветствовать за его песенный дар поэт-горожанин. Он рисует веселую и отважную ватагу сплавщиков леса («Сплавщики»), пишет о геологах и покорении тайги, о волну-

---

[1] Б. Жеребцов. Литературная традиция в Иркутске. В сб.: «Иркутские поэты». Иркутск, 1927, стр. 7.

ющих ночевках в лесу у костра, под открытым небом, когда так хорошо мечтается и хочется добраться до далеких звезд, разгадать их тайну.

Целый цикл стихов посвящает Непомнящих комсомольцам Кузнецкстроя. Вместе с героями Кузнецка в его лирику властно врывается «пейзаж» пятилеток (стихи «Огнеупор», «Рапорт строителей Кузнецкстроя» и другие).

Социалистическое соревнование молодежных бригад на стройке и воскресники, строители первых кауперов и первых домен, тракторы на колхозных полях — вот темы и мотивы многих его стихотворений тридцатых годов. И почти в каждом из них возникает обаятельный лирический герой — жизнелюб и поэт, энтузиаст и вдохновенный мечтатель, жадно впитывающий в себя «все впечатления бытия», человек, перед которым щедро «огромный мир распахнут настежь до синих призрачных границ». Поэт влюблен в этот мир со всем буйством его проявления и красок. Излюбленный его герой — всегда непоседа. Он идет «навстречу взбалмошному ветру», когда «певуч, как струны, легкий воздух». С неистребимым сознанием своего права на счастье шагает по просторам родной земли.

И, кажется, крутым кипеньем
Дурманных трав, огней, садов,
Бурливой музыкой и пеньем
Мир переполнен до краев.

И поэт стремится запечатлеть этот мир, в котором живут его герои, в напевных строчках «упругого и сочного стиха». О своей работе, которую он в стихотворении «Письмо другу» определил, как «беспокойное, трудное, боевое и прекрасное ремесло», В. Непомнящих скажет:

Я хочу, чтобы искренней, легкой прохладой
Этой ночи пахнуло от слов,
Чтобы в строчках дышали все запахи сада,
Пела юность, шептала любовь.

И всегда и во всем он остается сыном своего времени — энтузиастом и романтиком. В самом начале 30-х годов из-под пера его выходят стихи об Ангарстрое. Поэту видится время, когда берега неуемной сибирской красавицы Ангары будут стянуты «железною хваткой плотин», он мечтает о времени, когда:

И двинутся в дикие дебри полки
Кондовых, веселых ребят,
Чтоб реки смирять, выкорчевывать пни,
Переделывать мир и себя!

Есть у Непомнящих характерное для него стихотворение «Сад», полное этакой неистребимой веры в будущее. Герои его — веселая комсомолия, вышедшая на «озеленительный воскресник», озабоченная только тем, «чтоб каждый стебель деревом могучим шумел в коммунистическом саду». Кончалось оно так:

И, крепко сжав в руках горячий заступ,
Увижу я, закрыв глаза на миг,
Прохладный сад, огни домов глазастых
Вокруг цехов, что выстроили мы.
И почкою душистой распускаясь,
Крепчает радость светлая, когда
Почувствуешь, что в вечность прорастает
Весенний день свободного труда.

В те, теперь уже далекие, годы поэт мечтал и о покорении космоса. Об этом он сказал в отличном стихотворении «Здесь и костер горит бесшумно». Содержание его по-своему примечательно. В таежной глуши туманным августовским вечером поэту привиделись далекие космические рейсы, по которым «как молнии, ракеты мчатся, и до звезды — подать рукой». А все началось, казалось бы, с самого простого и вместе с тем глубоко поэтического — с отражения звезды в качающемся зеркале ручья. Вот как это сделано у Непомнящих:

Ружье. Котел с остывшим чаем.
Мешок походный... А внизу,
У самых ног моих, качает
Ручей лучистую звезду.
Она смеется и не тонет,
Качается и не плывет.
Шагни вперед, нагнись — и вот.
Звезда забьется на ладонях.

И как вывод, подготовленный цепью ассоциаций, звучит этот всепобеждающий эмоциональный аккорд — устремленность в грядущее.

...Влюбленный в землю эту,
В ее дожди, цветы, сады,
Я верю: в далях межпланетных
Мы путь найдем и до звезды.

Поэта всегда отличали хороший вкус и хорошее чувство слова. Одним из его поэтических наставников в искусстве песнопенья был старейший иркутский поэт Александр Балин. Это ему, Балину, Василий Непомнящих однажды на-

писал на подаренной книге своих стихов:

Когда-то я у Вас прилежно
Учился песен ремеслу:
И к Вам любовь свою и нежность
Я через годы пронесу.

Александр Балин знал неисчислимое количество стихов наизусть, начиная от поэтов-лириков древней Эллады и Рима и кончая своими современниками. Эту особенность у своего учителя перенял и Василий Непомнящих: писатель А. Л. Коптелов, которому пришлось в начале тридцатых годов совершить вместе с поэтом многодневную поездку в Горный Алтай, в своей статье о нем вспоминает, как Непомнящих всю дорогу, в течение четырех дней, пока они добирались от Бийска до Горно-Алтайска, беспрерывно, ни разу не повторяясь, читал на память стихи разных поэтов, отечественных и иностранных, классиков и современников. Особенно любил он Б. Пастернака, учился у него, брал строчки его в качестве эпиграфов к своим стихотворениям.

Поэтический образ у самого Непомнящих всегда точен, прост и по-своему неожидан. Звезды у него «венчики кувшинок», поэт может сказать о воздухе, что он, «темно-синий, прохладный, тяжелый, как ртуть, настоенный «на радостных искристых звездах, на черемуховом цвету», или написать о том, как «смотрят парни на звезды в девичьих глазах», как висят «на траве, на холодных ладонях кустов светляков и росы изумрудные гроздья. Ранней весной он обязательно заметит не только ледоход на реке, когда «в берегах, шугой изрытых, незримых сил идет игра», но и скажет о том, как «с высокой крыши стекло рассыпала капель». Вот начало стихотворения «Смерть друга»:

Мы снова шагаем некошеным лугом.
Трава—после ливня—в холодных слезах;
И радуга, согнутая полукругом,
Пьет воду из речки, заснувшей в кустах.

В другом стихотворении он пишет:

«Ты стоишь босая над ручьем, на смуглое лицо серебро текучее бросая».

Как видим, здесь нет ни изысканных эпитетов, ни ошеломляющих метафор и уподоблений. Прелесть этих стихов в другом — в точности и простоте поэтического видения, в непосредственности и свежести восприятия окружающего мира.

Талант Непомнящих, духовно здоровый, глубоко оптимистичный, жизнеутверждающий в своей основе, набирая силы, крепчал с каждым новым годом. Быстрое творческое созревание поэта радовало всех любителей хорошей литературы. Книги Непомнящих тепло приветствовал в печати старейший сибирский лирик Георгий Вяткин. дружеским словом встречал на страницах «Сибирских огней» Александр Смердов. Сам же создатель этих проникновенно лирических стихов, обрызганных предрассветной росой и залитых солнцем, искрящихся таким жизнелюбием, был тяжело и неизлечимо болен. Последние пятнадцать лет своей жизни поэт уже не мог заниматься любимым делом, тем самым «беспокойным, трудным и прекрасным ремеслом», которое было ему так дорого на этом свете. Угасание его было трагичным. Он жил под присмотром матери в селе Куйтун, Иркутской области, больной, одинокий. Василий Иннокентьевич Непомнящих умер 24 сентября 1954 года в Иркутске в одной из больниц.

Лучшие произведения его, несущие на себе неизгладимую печать своей эпохи, сохранившие горячее дыхание ее, сохраняют свое обаяние и для современного читателя. Аромат их не выветрился от времени. По верному замечанию А. Л. Коптелова, «проникновенная лирика поэта подобна роднику, всегда хранящему свою приятную чистоту и прохладу». И этот свежий и чистый поэтический родник, скажем мы от себя, еще долго не иссякнет, не затеряется в просторах земли сибирской, щедрой и на таланты и на память о них.

Василий Трушкин

Галерея „Ангары“

ХУДОЖНИК Н. А. АНДРЕЕВ

В залах Иркутского областного художественного музея в годовщину 50-летия Советского государства была устроена интересная выставка «Иркутские художники за годы Советской власти».

Здесь наряду с современными живописцами и графиками, скульпторами и мастерами прикладного искусства экспонировались произведения художников, работавших в столице Восточной Сибири в первые десятилетия рабоче-крестьянской страны.

Среди всех представленных произведений, созданных в начале существования нашей социалистической республики, выделялись работы талантливого живописца Николая Андреевича Андреева. Привлекал к себе своей задушевностью портрет двух якутов, обращала на себя внимание картина «На крайнем Севере», в которой в теплых оранжево-зеленоватых тонах показана суровость и в то же время какая-то обаятельность холодного края. Бескрайние просторы и бесконечная гладь Ледовитого океана, на фоне которого изображена группа людей и верных их спутников — собак, запряженных в нарты. Трогала своей теплотой и искренностью картина «Пуговичник» («Такмосит»). Мы видим мужественное лицо аборигена Якутского края, показанного на фоне юрты, расположенной среди сказочных сибирских гор. Это, пожалуй, наиболее интересная картина Андреева. От произведения веет своеобразным эпическим звучанием, передающим характерные особенности северных народов и их национальный колорит. Картина впервые была показана в Иркутске на выставке «Новая Сибирь» в 1927 году и только несколько лет тому назад поступила в дар Иркутскому музею от жены художника О. А. Андреевой.

Была на юбилейной выставке и трогательная картина «Собаки Севера». Перед нами предстает живая сцена собачьего стойбища на холодном Севере. Хотя собаки и одной породы, но каждая из них имеет свою индивидуальность. В то же время картина обобщена, едина по своему колориту и влечет к себе зрителя своей простотой и теплой задушевностью.

Андреев обожал животных, любил жизнь вообще. Эта страсть ко всему живому у него появилась с ранних детских лет, когда он мальчишкой шествовал за реку Ушаковку, расположенную тогда на окраине Иркутска, и ходил в живописное местечко Каштак. Осенью он ловил птиц, держал всю зиму у себя дома, а весной отпускал их на волю. Эта любовь к птицам, собакам, кошкам сохранилась у художника на всю жизнь.

Уже в последующие годы Андреев вплотную занялся изображением человека. На выставке мы видели «Лесорубов» и его последнюю картину «Сбор партизан». Николай Андреевич готовил это полотно к выставке 1939 года, посвященной 20-летию освобождения Сибири от колчаковщины, но закончить полотно не удалось. Долгое время произведение хранилось на чердаке его бывшей квартиры и только недавно вместе с другими работами художника от его жены Ольги Андреевны поступило в фонд Иркутского областного художественного музея.

На выставке общества «Новая Сибирь» в 1927 году, которая была показана во многих городах Сибири, привлекало к себе внимание полотно «Челдон». Сразу же с выставки оно приобретается государством для музея сибирского искусства, который предполагали открыть в Новосибирске. Картинная галерея открылась совсем недавно, и

торговли. Возвращался к себе домой место в ее экспозиции. В первом томе «Сибирской энциклопедии» картина «Челдон» воспроизводится в красках. Это, пожалуй, самая популярная работа художника. Как вспоминает Ольга Андреевна, Челдон — это крестьянин Галкин деревни Пивоварихи, большой друг Николая Андреевича, с которым художник вместе охотился. Правда, они не столько охотились, сколько бродили по лесам, ели «сибирское сало» — черемуху.

Действительно, когда смотришь на этот портрет, видишь перед собой мужественного и сурового человека — коренного сибиряка-чалдона — потомка русских землепроходцев. Широкая кладка мазка, сочная живопись произведения свидетельствуют о незаурядном мастерстве художника. Суровость таежника перекликается с фоном стройных и мрачных лиственниц и хмурым небом.

Творческий путь Николая Андреевича Андреева определился в самом начале двадцатых годов, на заре зарождения советского изобразительного искусства. В то время он активно участвует в выставках Иркутского общества художников, показывает свои работы не только в Иркутске ,Красноярске, Новосибирске, но и далеко на Севере, в Якутии. Андреев является активным учредителем общества «Новая Сибирь» в 1927 году и одним из первых инициаторов создания в Иркутске в 1932 году единого Союза советских художников. Он принимал также участие в работе по комплектованию картинной галереи в Иркутске и являлся активным членом ученого Совета галереи.

Николай Андреевич Андреев — своеобразный художник с интересной творческой индивидуальностью, большой общественный деятель и энергичный человек. С целью изучения жизни сибирского Севера он выезжал туда, с экспедициями по могучей сибирской реке Лене до самого Ледовитого океана. Эти путешествия и предопределили северную тему в творчестве живописца. Он страстно любил Север. Чтобы лучше изучить его, весной, почти ежегодно, нанимался продавцом на торговый паузок и плыл на нем до Якутска с остановкой на пристанях для торговли. Возвращаясь к себе домой в Иркутск с последним пароходом. Подобные путешествия повторялись несколько лет. Во время плаваний он делал зарисовки.

Мы до последних лет мало знали об этом художнике, хотя его имя встречается в каталогах многих сибирских художественных выставок. Многогранность его творческой биографии раскрывают газетные статьи, архивные документы, которые только недавно стали обнаруживаться в связи со сбором материалов и подготовкой к выставке, посвященной 50-летию Советской власти. В этой работе большую помощь оказала жена художника. Ольга Андреевна прислала в архив музея много ценных фотографий, связанных с жизнью и деятельностью мужа, написала нам свои воспоминания о художнике.

Материалы, собранные нами, проливают свет на кипучую творческую жизнь Андреева. С сибирскими писателями и художниками его связывала тесная дружба. В воспоминаниях жена пишет: «Знакомых у него было много, и живет от них близко, как не зайти поговорить о новостях литературы и искусства. К десяти часам утра у меня в хозяйстве все было готово для приема гостей. Зимой на традиционные «сибирские пельмени» приезжали к нам на розвальнях интересные и прекрасные люди (Басов Михаил Михайлович с женой, Гольдберг Исаак Григорьевич, Молчанов-Сибирский Иван Иванович, Петров Петр Поликарпович, Седых Константин Федорович, Ольхон Анатолий, Балин Александр). После пельменей Николай Андреевич приносил в кожаном мешке кедровые орехи, ставил в комнате на стул, и щелкая их, беседовали до утра о литературе и искустве. На утро гора ореховой скорлупы, вместо гостей. Это было под выходной.

Очень часто бывали художники: Ладейщиков Николай Васильевич, Герман Степан Иванович, Вологдин Александр Иванович, Орлов Евгений, Шабалин Николай и другие (фамилий не помню)».

Музей располагает редкими фотографиями Андреева, на одной он запечатлен с известным сибирским писателем И. Г. Гольдбергом, на другой — с поэтам Анатолием Ольхоном.

Николай Андреевич — один из организаторов в Иркутске художественной артели «Гагат», выпускающей вазы, чернильные приборы и другие изделия из разновидностей каменного угля густочерного цвета — багхед. Художник приспособил багхед для изготовления клише гравюр. Сейчас в фондах Иркутского областного художественного музея имеются многочисленные оттиски небольших гравюр, напечатанных с багхедных досок. По заданию хайтинской фабрики «Сибфарфор» для производства художественных изделий из фарфора он приглашается на завод, где работает около четырех месяцев, готовя экспонаты для промышленной выставки. Художник заинтересовался результатом обжига глины с нанесением на нее особых красок. На базе этой артели впоследствии организуется в Иркутске областное товарищество «Художник».

Николай Андреевич много времени отдавал иллюстрированию книг. Вместе с ныне здравствующим писателем Г. Ф. Кунгуровым он работал над иллюстрированием детской книги, изданной в Иркутске в 1935 году, «Топка большой, Топка маленький». Он иллюстрировал также произведения и других иркутских писателей. В последний период Андреев работал над рисунками к произведению П. П. Петрова «Половодье». Но как книга, так и иллюстрации тогда не увидели свет.

Теперь, когда мы отмечаем восьмидесятилетний юбилей со дня рождения Николая Андреевича Андреева, мы еще глубже воспринимаем творчество талантливого художника, еще интенсивнее стараемся изучить его жизнь и творческое наследие. Сейчас нам известны только те произведения художника, которые хранятся в музеях Сибири.

Николай Андреевич прожил всего пятьдесят лет. Он родился 22 мая (по новому стилю) 1889 года в Иркутске. После окончания городского училища уезжает к своим родным в Винницу и там поступает в Художественное училище. Получив художественное образование, Андреев возвращается в Иркутск и здесь принимает активное участие в творческой жизни родного города.

В небольшой статье о художнике мы не смогли раскрыть всей многогранности творчества талантливого живописца. Материалы о нем систематически пополняются. Необходимо об Андрееве издать специальное исследование, раскрывающее его как художника, оставившего своему потомству много ценных произведений, характеризующих эпоху становления искусства социалистического реализма в Сибири.

А. Д. ФАТЬЯНОВ

НОВАЯ КНИГА О ЦИК СОВЕТОВ СИБИРИ

В становлении и защите Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке большую роль сыграл ЦИК Советов Сибири (Центросибирь), избранный на общесибирском съезде Советов в октябре 1917 года, а затем — на II съезде — в феврале 1918 года.

В третьем томе «Истории Коммунистической партии Советского Союза» дается высокая оценка Центросибири.

О Центросибири и его деятельности было уже издано несколько книг и опубликовано ряд статей, однако эта литература носит в основном информационный, описательный характер и не дает цельного представления о деятельности Центросибири и партийно-политической значимости этого общесибирского органа Советской власти.

В книге «Подвиг Центросибири» этот пробел значительно восполняется. Автор книги научный работник В. Т. Агалаков провел большую, кропотливую работу по выявлению в архивохранилищах новых документов о составе и деятельности Центросибири, а также широко использовал газеты и журналы тех лет, частично сохранившиеся в библиотеках. В результате автору удалось широко осветить деятельность Центросибири и дать правильную научную оценку различных сторон этой деятельности и политической значимости самого факта образования общесибирского советского органа.

Рассказу о Центросибири автор предпосылает подробный показ политической обстановки в Сибири в послефевральский период двоевластия, характеризовавшийся борьбой большевиков против меньшевиков и эсеров за большинство в Советах. Автор на многих конкретных примерах наглядно показывает, как сибирские трудящиеся под воздействием большевистской пропаганды все более отходили от лживых демагогических призывов меньшевиков и эсеров и вместо них в Советы посылали большевиков.

Деятельность большевиков в этой борьбе за установление влияния нашей партии в Советах увенчалась успехом, и к октябрю 1917 г. в составе сибирских Советов преобладали большевики и им сочувствующие. Показателем этого явился первый общесибирский съезд Советов, открывшийся 16 октября 1917 года в Иркутске. Большинство на съезде принадлежало большевикам, и съездом был избран большевистский ЦИК Советов Сибири. Автор подробно рассказывает о составе съезда и его работе с представителями эсеров и меньшевиков, развернувшейся на съезде при обсуждении вопросов.

Большинство делегатов поддерживало позицию большевиков, и в результате, как пишет автор, «на I Всесибирском съезде восторжествовало революционное направление в Советах Сибири... Большевики одержали победу в Советах на общесибирском уровне» (стр. 29, 37).

В книге говорится далее о руководящей политической и большой организаторской работе Центросибири первого созыва, в частности освещается борьба большевиков с эсеро-меньшевистским контрреволюционным областничеством, показывается ведущая роль в этой борьбе большевистской Центросибири, рассказывается об участии Центросибири в организации разгрома белогвардейского восстания в Иркутске в декабре 1917 года, о руководящей роли Центросибири в организации вооруженной борьбы с семеновскими белобандитами, которые с помощью империалистов начали в январе 1918 г. наступление из Маньчжурии на Читу.

В феврале 1918 года в Иркутске состоялся II съезд Советов Сибири. Этот съезд особенно ярко продемонстрировал укрепление Советской власти в Сибири и большевизацию местных Советов.

На съезде были представлены все губернские и ряд городских и уездных Советов, всего в работе съезда участвовали делегаты 72 Советов Сибири и Дальнего Востока. Из 202 делегатов съезда было 123 большевика и 53 левых эсера, поддерживавших большевиков, правых эсеров было всего 7, в то время как на I съезде их быле 50. «Все это, — как пишет автор, — означало, что в борьбе за массы и за руководство Советами на восточной окраине России большевистская партия добилась решающих успехов» (стр. 85).

На съезде был избран ЦИК Советов Сибири, подавляющее большинство в котором составили большевики. В книге подробно освещается многогранная деятельность Центросибири второго созыва, показываются тесные связи большевистского руководства Центросибири с ЦК партии, с Совнаркомом, отмечается постоянное внимание В. И. Ленина к положению дел в Сибири, к деятельности Центросибири, приводятся директивные указания В. И. Ленина Центросибири и рассказывается о выполнении этих директив.

Автор подчеркивает огромное значение работы Центросибири по выполнению ленинской директивы о заготовках хлеба для центральных районов страны и о переброске в центр больших масс товаропродуктов, скопившихся во Владивостокском порту. Автор рассказывает затем о руководящей роли Центросибири в вооруженной борьбе трудящихся Сибири и Дальнего Востока против семеновцев и белочехов.

В этой борьбе внутренние и внешние силы реакции и контрреволюции имели огромный перевес над руководимыми Центросибирью вооруженными силами, и в конце августа 1918 г. по решению конференции на ст. Урульга было принято решение о прекращении фронтовой борьбы и переходе к партизанским методам.

«Центросибирь, — пишет автор, — не могла устоять в неравной схватке, но она боролась до последней возможности, отвлекая на себя часть вражеских сил, когда в Поволжье Красный Восточный фронт вел решающие сражения

за спасение революции. Рабочие, крестьянская беднота, большевики Сибири и Дальнего Востока не зря пролили кровь летом 1918 года. Они проявили героизм, совершили настоящий подвиг» (стр. 134).

Содержание книги в целом оправдывает ее название — «Подвиг Центросибири», однако можно было бы значительно усилить показ героизма руководимых большевистской Центросибирью трудящихся в борьбе против сил контрреволюции. Яркие данные об этом приводятся, в частности, на страницах газеты «Центросибирь». Следовало бы подробнее показать боевые операции на фронтах, мало показана деятельность Центросибири по организации интернациональных отрядов иностранных военнопленных и боевые подвиги этих отрядов. Но в целом книга дает впечатляющую картину героической борьбы за установление и защиту Советской власти в Сибири. Научная ценность книги несомненна, она является заметным вкладом в изучении истории Октябрьского периода в Сибири.

С. Г. Пелетев — член КПСС с 1917 г., бывший член ЦИК Советов Сибири и Сибвоенкомата. А. Т. Якимов — член КПСС 1917 г., бывший член ЦИК Советов Сибири и редактор газеты «Центросибирь».

О РОМАНЕ А. ГУРУЛЕВА «РОССТАНЬ»

На полках книжных магазинов появилась книга, только что выпущенная в свет Восточно-Сибирским издательством. Автор ее — молодой прозаик Альберт Гурулев, название книги — «Росстань». Это роман о гражданской войне в Забайкалье, о все еще недостаточно освещенной в литературе окраине, на которой доигрывались последние драмы людских судеб — жестокие, как нигде, ибо сюда, к последним рубежам России, сгрудил и сдавил разноклассовые массы беспощадный поршень революции. А раз сопротивление не бесконечно, должен был произойти взрыв, выброс накопленной энергии в ту или другую сторону. Об этом и повествуется в романе, название которого заключило в себе смысл расставания с прошлым одних, но оставшихся жить на земле отцов, и других — лишившихся Родины, выброшенных с земли предков за кордон, на чужбину.

Уже с первых страниц романа чувствуешь тревогу за судьбы тех, с кем тебе предстоит встретиться, кого ты полюбишь или возненавидишь. И хотя автор не прибегает к какому-нибудь эффективному образу, например, колокольному набату, но сполох, бьющий тревогу, стоит за начальным вступлением в книгу:

«Ночью в село вошли японцы. Их двуколки на громадных колесах проскрипели по Большой улице и остановились у школы. Гортанные выкрики команд взбудораживали собак: метались во дворе цепники, душились злобой, царапали землю. Кое-где за плотными ставнями зажглись желтые огоньки, но вскоре погасли. За огородами в неверном свете ущербной луны мелькнули зыбкие тени, и в крайних верховых избах слышали, как несколько коней наметом ушли в степь. Только собаки еще долго не могли успокоиться, да у школы слышалась чужая речь».

Прочитав только это, уже начинаешь жить ожиданием чего-то неизвестного, волнующего, которое теперь доступно тебе, заключено в книге, с героями которой тебе предстоит пройти путь — радостный и горестный, стать сопричастным к делам отшумевшего времени, имя которому История.

Казачья станица, каких много разбросано по увалистым забайкальским степям. И казаки, живущие в ней, такие же, похожие на других, но с разными, только им присущими характерами и судьбами. Не назойливо, без нарочитых мудрствований и дотошных поучений, выписывает А. Гурулев своих героев кистью, свежей и добротной, показывает их такими, какими застал, увидел их пристальный взгляд художника, художника беспристрастного, сумевшего как бы раздвинуть тесноту годов и войти к ним, зажить их жизнью и думами, поступать их поступками. В этом большом романе нет ни одной неоправданной ситуации или действия. Все герои разны, говорят только им присущим

языком, своими интонациями, и потому характеры их запоминаются, действия приобретают убедительность и достоверность.

Молодой, огромный казачина Северька, боевая его подруга казачка Устя, зарубившая в извозе японского офицера, станичный гармонист Лучка и Федька — разгуляй-парень, который и шашкой рубить мастак и горилки выпить не дурак, но дружбу водит крепко, без обмана. Вот люди из тех многих, которые живут и действуют в романе. Но если у Северьки все благополучно и к концу романа мы расстаемся с ним, ясно видящим цель, ради которой умирали его друзья и враги и сам он подставлял под шашки свою голову, то Федька не видит и не хочет видеть конца той жизни, по которой скакалось пусть не всегда легко и безопасно, зато весело и азартно, с риском. Он не может найти покой еще и потому, что где-то ходит по земле враг, кроваво наследивший и скрывшийся за кордоном, на той стороне Аргуни. И враг — Петр Пинигин, предавший отца гармониста Лучки, а позднее застреливший и Лучку, — находит заслуженный конец от руки Федьки. Однако частые поездки за Аргунь в лавки китайцев-бакалейщиков, в которых все можно достать и продолжать жить рискованно и сытно, сделали свое дело. Отошел комсомолец Федька — яростный партизан-рубака — от страдных дел коммуны. Остался качаться на ветру одиноким остюгом.

А жизнь утверждалась. Новая, непривычная, не для всех желанная, трудная. Сбились плотнее друг к другу тальниковцы, подняли землю. Ходили в теплых бороздах за плугами, понукали круторогих волов, а винтовки не снимали. Вываливались из-за Аргуни лавы белоказаков, мстили за сломанный древний уклад. Пластались, роняя с окровавленных губ клочья розовой пены, загнанные кони, слепили отблесками новых пожарищ казачьи шашки. Но отбивалась коммуна, молча хоронила убитых, восстанавливала порушенное, снова и снова пахала, сеяла хлеб.

В романе много впечатляющих сцен, выписанных зримо и зрело. Например, встреча первого трактора. Здесь нет ни одного лишнего слова, вся сцена подана скупо. Автор экономно расходует речевой материал, ничто не отвлекает чи тателя, и он становится как бы свидете лем происходящего.

«...Ожил коммунарских поселок. Мужики одергивали рубахи, не спеша доставали кисеты с махоркой, свертывали цигарки. Негоже им свое любопытство показывать и бежать сломя голову к дороге. Бабы — те торопливо подвязывали платки, подтыкали за пояс подолы широких юбок, старались не отстать от молодежи, перекликались возбужденно и радостно.

Усадьба пустела.

У землянок остались лишь древние старухи. Протирали слезящиеся глаза, всматривались в пыльный клубок, катящийся по дороге. Крестились.

— Бегут, будто на пожар!... — кала мать Никодима Венидикт От мала до велика... Будто спа нашего Иисуса Христа встречать.

— Трахтер какой-то. Боюсь я за Кодьку. Беды бы не было.

Жена Силы Данилыча хоть и в небольших годах, а здоровья бог ей не дал, осталась со старухами.

— Ничего, бабушка. В городах давно машины ездиют. И не боятся.

— Много ты знаешь, — сердится старуха. — Те городские, а мы... Насидимся без хлебушка. Хлеб — он пот любит, а не керосин».

И за жизнь, с ее непостижимой новью, зацепились исстрадавшиеся души хлеборобов. Новь стала делом привычным. Постепенно отстаивались и личные отношения героев, входили в мирную колею. Роман кончается на эпизоде, когда веселый Федька едет из-за кордона в коммуну, не зная, что минувшей ночью ее постигла страшная беда: белоказаки, налетевшие из-за Аргуни, сожгли заскирдованный хлеб. Здесь у ручья состоялся разговор Федьки с Устей. Разговор безжалостный и короткий, но необходимый и честный: «Ты не езди к нам сегодня, Федя, — вдруг сказала Устя. — У нас горе. Свое горе...»

Федька медленно вынул ногу из стремени и тяжело сошел на землю. Устя хотела еще что-то сказать, но лишь вздохнула, не глядя на Федьку, подняла ведра и пошла к землянкам, пошла, не оглядываясь.

Не выпуская поводьев, Федька сел на камень и закрыл глаза.

По долине потянуло ветром, ветер подхватил круглый куст перекати-поля, погнал его к сопкам. Где этот куст теперь остановится?».

Мы расстаемся с героями, зная, что еще не одиножды пронесется над ними буря, еще будут тревоги, но люди, полюбившиеся нам, выстоят, «ибо — нет на свете силы, которая бы пересилила русскую силу». В этом нас убедил ратоборствующий дух народа, талантливо показанный Альбертом Гурулевым на страницах романа «Росстань», первого романа молодого писателя. Остается поздравить автора с бесспорной удачей, а читателей с доброй и умной книгой. Как говорится — в добрый путь!

Глеб ПАКУЛОВ

ВСЕСИБИРСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Прошедшим летом в Институте обще-
-енных наук бурятского филиала Си-
кого отделения Академии наук
(Улан-Удэ) состоялась третья
ная конференция фольклористов. Заявленная всесибирской, она по темам заслушанных докладов и представительству ученых оказалась более широкой: на совещании прозвучали сообщения ученых не только из разных городов Сибири, но и Москвы, Ленинграда, Дальнего Востока.

Третья фольклорная конференция была посвящена проблемам эстетики фольклора. Такой выбор темы продиктован все возрастающим интересом советской фольклористики к вопросам эстетики народного поэтического творчества. Обсуждение этой проблемы на основе разнообразных сибирских материалов имело особо важное значение, так как по сути дела было первым крупным обменом мнений по эстетике фольклора народов Сибири и русского старожильческого населения края.

Доклады были посвящены главным образом общим и частным вопросам, связанным с проблемами изучения эстетики фольклора Сибири (Л. Е. Элиасов), с национальным своеобразием образно-эстетического звучания фольклорных мотивов и жанров у разных сибирских народностей (М. Г. Воскобойников. «Фольклорная проза тунгусо-маньчжуров»; А. И. Уланов. «Прекрасное в бурятских мифах»; А. Челынхасов. «Эстетика чудесного в волшебной сказке»; П. Трояков. «Магическая функция сказывания как эстетическая категория в сюжетосложении архаической сказки»; Е. В. Баранникова. «Любимые герои волшебных сказок»; Н. О. Шаракшинова «Эстетические воззрения бурят по материалам бурятских версий «Гэсэра»; Р. А. Шерхунаев. «Эстетические воззрения бурят в улигерах»).

Значительная часть докладов отразила эстетические воззрения русского народа (А. П. Селявская. «Эстетика слова»; В. М. Сидельников. «Эстетическое в поэтическом искусстве народа»; М. Н. Мельников. «К вопросу об эстетике детского фольклора»; Л. П. Кузьмина, «Эстетический идеал ранней рабочей песни Сибири»; Р. П. Потанина. «Образы женщин в семейском фольклоре»; Е. С. Обшарина. «С жанровой классификации песенного творчества периода гражданской войны на Дальнем Востоке»; Р. П. Арефьева «Художественные особенности героев советских сказок Магая» и другие).

С большим интересом участники конференции заслушали сообщение В. Е. Гусева об изучении эстетики фольклора в зарубежных социалистических странах.

Таким образом, большая часть докладов конференции в совокупности своей проблематики представила яркую картину устнопоэтического творчества разноязычного сибирского края.

Вместе с тем по широте затронутых совещанием вопросов, по разнообразию и новизне представленных материалов и выводов третья фольклорная конференция в Улан-Удэ представляет интерес для всей советской фольклористики.

Е. ШАСТИНА

АЛЬМАНАХ АНГАРА № 1
Редактор Н. И. Рихванова
Художественный редактор А. И. Аносов
Техн. редактор А. В. Пономарева
Корректор Н. Б. Колкина

Сдано в набор 20 декабря 1968 г. Подписано в печать 25 апреля 1969 г.
Печ. л. 8,77. Уч.-изд. л. 11,24. Бумага $70 \times 90^1/_{16}$.
Тираж 5000. Заказ № 6824. НЕ 00067. Цена 40 коп.
Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.
Типография «Восточно-Сибирской правды», ул. Советская, 109.

В область предания ушли винтовка и клинок...

Еще мгновение и...

40 коп.

9 г.

56.